моника марон



ANIMAL TRISTE

Animal triste
Моника Марон

Аннотация
Моника Марон. Animal triste

Аннотация

«Post coitum omne *animal triste*» — «После соития всякая тварь тоскует». Словами из этого латинского изречения названа книга известной немецкой писательницы, лауреата многих престижных литературных премий Моники Марон. «Animal triste» признана «лучшим романом года» и «глубоко эротичной книгой».

Сумасшедшая любовь.

Слепая любовь.

Любовь до гроба.

Это, как выясняется, не метафоры.

Перед вами самое пронзительное и достоверное любовное свидетельство из всех обнародованных за последние годы.

Сойти с ума от любви…

Ослепнуть от любви…

Умереть от любви…

И несмотря на это: «В жизни можно пропустить все, кроме любви».

Моника Марон
Animal triste

ПАМЯТИ ГЮНТЕРА БУША,
скончавшегося 25 июня 1995 года

В ранней молодости мне казалось (с молодыми часто так бывает), что я рано умру. Столько свежести было во мне, жизнь только начиналась, и поэтому конец виделся непременно трагическим и прекрасным: постепенное разрушение мне не грозит, уж в этом я была уверена. Ныне мне сто лет, а я все жива. Впрочем, может быть, мне и девяносто, точно не помню, но вероятнее все же — сто. Кроме банка, где у меня счет, никому не известно, что я еще существую на свете. Раз в месяц я подхожу к банковскому окошку и снимаю небольшую сумму. Я живу весьма экономно. Однако всякий раз опасаюсь, что служащий за окошком мне сообщит, мол, денег на счету больше нет. Некоторые сбережения у меня имелись, но трудно представить, что их хватило на все долгие годы, которые я на эти сбережения живу. Возможно, кто-то мне выплачивает небольшую пенсию. Возможно также, что мне всего девяносто, а то и меньше. Мир мне теперь безразличен, оттого я и не знаю, в какой эпохе он сейчас застрял. Когда дома кончается съестное, я выхожу на улицу за покупками. Иногда работает рынок: покупать продукты там я особенно

люблю, потому что в толпе не так обращаю на себя внимание. Я никогда не встречаю знакомых, да и не уверена, что вспомнила бы их. Вероятно, они давным-давно умерли, в живых осталась лишь я одна. Удивительно, что в моем возрасте я все еще отлично хожу. Мне также не составляет труда нести домой продукты, хотя обыкновенно я запасаюсь ими на две-три недели вперед, и весят они довольно внушительно. Потому-то я порой и сомневаюсь в собственном возрасте, что допускаю: часы, проведенные мною здесь, — сосчитаны неверно.

В моей квартире нет зеркал, где отражались бы геологические напластования, необходимые для определения возраста. Пятьдесят, сорок или шестьдесят лет назад — точно помню, что осенью, — я приняла решение вообще не добавлять новых событий к своей жизни и разбила все зеркала. Вечером или утром, переодеваясь, я могла бы, стоя голышом, изучать состояние своей кожи, если бы несколько десятилетий назад намеренно не испортила себе зрение.

Последний мой возлюбленный, из-за которого я и оборвала связь с внешним миром, покидая меня, забыл очки. Эти очки я носила годами, считая размытость — результат совмещения его слабого

зрения с моим стопроцентным — последней надеждой оказаться с ним рядом. Как-то раз, когда я варила суп из курятины с лапшой, очки упали на каменный пол кухни и разбились, но к тому времени мои глаза уже утратили природную зоркость, так что и без очков я не очень страдала. С той поры они лежат на столике у моей кровати, и я порой — правда, все реже и реже — надеваю их, чтобы ощутить то, что ощущал мой возлюбленный, пока их носил.

Моего возлюбленного я помню очень хорошо. Помню, как он выглядел, входя в мою квартиру, просчитывая каждый шаг, подобно спортсмену, когда тот, разбегаясь перед прыжком в высоту, старается не пропустить точку отталкивания. Могу вспомнить его запах, словно он только-только вышел из комнаты. Могу, если темно и я устала, ощутить, как его руки смыкаются у меня за спиной. Лишь имя его и отчего он меня покинул — позабыла.

Однажды осенью, это я помню точно, он ушел и не вернулся. Возможно, тогда он и умер. Порой мне кажется, я помню, как пятьдесят, сорок или шестьдесят лет назад зазвонил телефон и чей-то голос — наверное, голос его жены — сообщил, что умер мой возлюбленный. Голос представился,

это была и его фамилия, но с тех пор я ее забыла. Не исключено, однако, что все это моя выдумка. Я давно так сижу и выдумываю разные истории, способные объяснить, почему той осенней ночью, как только дождь прекратился, он вышел из моей квартиры — поспешно, поскольку для разумного объяснения дома своего отсутствия было уже поздновато, — и более никогда не вернулся.

Я его ждала. Неделями не решалась выйти из дому от страха, что именно в этот час он вернется, а потом — раз меня нет — пропадет навеки. Ночью я держала телефон возле подушки. Пока ждала, думала исключительно о нем. Любой его жест, любое сказанное слово, наши ночные объятья я прокручивала в голове снова и снова. Мне удавалось представить его столь ясно, близко, что я часами испытывала счастье, словно мой возлюбленный рядом. Со временем я привыкла к напрасному ожиданию. Если такое вообще возможно — ждать, не надеясь на счастливый исход, то этим я и занималась. Я жду его и теперь. Ожидание стало частью меня самой, а тщетность давно уже не причиняет мне боли. Не знаю, как долго была я с возлюбленным, и долго ли, и все же достаточно долго, чтобы заполнить воспоминаниями лет сорок-пятьдесят, а значит — очень

долго.

Я была уже не молода, когда приняла решение продолжать свою жизнь словно бесконечную и непрерывную любовную историю. Мое тело вошло в ту стадию разрушения, когда болезни начинают подтачивать наиболее уязвимые органы, напоминая о приближении старости. Дряблые ягодицы, складки на животе и внутренней стороне бедер, кожа становится бугристой. Но девических очертаний тело все же еще не утратило, и при выгодном освещении, да еще когда плечи расправлены и морщины незаметны, создавалось впечатление, будто я на том же расстоянии от молодости, что и от старости.

К счастью, мне неведомо, насколько жалкую картину являет собой ныне мое тело. Я сильно исхудала и, лежа в кровати, вынуждена зажимать между колен одеяло, иначе больно из-за острых костей. Вообще-то мне безразлично, в каком виде я предстаю перед людьми во время моих редких прогулок. Если окружающих не тошнит от твоего вида, значит, ты для своих лет просто красавица. Я регулярно принимаю душ и слежу, чтобы из носа не капало.

Когда возлюбленный меня оставил, я сняла постельное белье, на котором мы в последний

раз лежали вместе, и с тех пор храню его в шкафу невыстиранным. Время от времени я вынимаю то белье и стелю, строго следя, чтобы не потерялись ни волосок, ни самая малая шелушинка кожи моего возлюбленного. Пододеяльник украшен крупными цветками, они выдержаны в сочных тонах — красных, зеленых, лиловых — и напоминают мне о хищных растениях. Простыня черная, так что сперма моего возлюбленного выглядит на ней четко и красиво: пятно, не очень большое, имеет форму сидящего пуделя, а вплотную к нему второе пятно, большее по размеру и менее четких очертаний, но всякий раз, когда я его разглядываю, оно предлагает новые возможности истолкований, подобно плывущим в небе облакам.

Сняв одежду, ложусь в постель. Возлюбленный сидит среди растений-хищников, выпрямившись и прислонившись к стенке, голову тоже держит прямо, что придает ему решительный вид, на самом же деле это просто позволяет снять нагрузку с позвоночника, ведь мой возлюбленный не младше, а даже на несколько лет старше меня. Я различаю лишь его силуэт, в комнате почти темно. Он потягивает трубку, я слышу звук его размыкающихся губ и жду каких-нибудь слов,

не каких-то определенных, а просто слов, но он ничего не говорит. На меня не глядит, в темноте всматривается в окно за задернутыми шторами. Прикурив сигарету, я кое-как протискиваюсь в его объятия. В тот вечер, лет сорок или шестьдесят назад, мы были знакомы всего две недели.

Если не ошибаюсь, некогда я изучала биологию, хотя, возможно, это была геология или палеонтология, во всяком случае в момент встречи с моим возлюбленным я давно уже занималась исследованием скелетов доисторических животных и работала в Зоологическом музее, где впервые и увидела своего возлюбленного. Тогда, а может, и сейчас, музей обладал самым большим скелетом динозавра из всех, что когда-либо выставлялись в музеях. Брахиозавр, животное высотой около двенадцати метров, длиной двадцать три метра. Стояло оно под стеклянным куполом, как посреди храма, — впрочем, для меня это не оно, а он — в центре украшенного колоннами зала, неуклюже и величественно, божественное творение со смешной маленькой головкой, с улыбочкой, обращенной вниз, ко мне, своей жрице. Каждое утро на службе я начинала с благоговейного молитвенного молчания. На полминутки, на минутку вставала перед ним так, чтобы погля-

деть в его изумительные глазницы под легкой дугой черепной кости, и воображала, как бы мы встретились тогда, когда его остов обхватывали пятнадцать тонн мяса, когда он таким же утром сто пятьдесят миллионов лет назад, под тем же солнышком, искал бы себе пропитание близ Тендагуру, где умер и где, вероятно, обитал.

О брахиозавре я люблю вспоминать. Я люблю вспоминать вовсе не о многом, это не относится к возлюбленному и брахиозавру. За долгие годы я научилась не вспоминать о том, что хочу забыть. Я вообще удивляюсь, зачем иные люди накапливают в памяти кучу пустых событий, не стоивших того, чтобы в них участвовать, а потом по сто раз, а то и чаще, извлекают их и предъявляют как доказательство якобы небесполезно прожитых лет. В моей жизни столь немногое заслужило памяти, что в сокращенном мною и достойном хранения варианте эта жизнь оказывается довольно-таки короткой. Не знаю, что об этом думают теперь, но вот лет сорок-пятьдесят назад, когда я еще жила среди людей, забвение считалось грехом, с чем я не соглашалась и тогда, а ныне считаю опасной для жизни чепухой. Запретить людям забывать — то же, что запретить им обмороки при невыносимой физической боли, а ведь толь-

ко обморок может предотвратить смертельный шок или пожизненную травму. Забвение — это обморок души. Вспоминать — это совсем не то же, что не забывать. Бог и мир забыли о брахиозавре. Сто пятьдесят миллионов лет он принадлежал лишь земной или даже космической памяти, покуда профессор Яненш в Тендагуру не нашел нескольких костей. После чего мы и стали его вспоминать, а именно: мы снова его придумали, с его крошечным мозгом, пищей, привычками, соплеменниками, со всей долгой жизнью его вида и со смертью. Теперь он снова есть, любой ребенок о нем знает.

Тот вечер сорока- или пятидесятилетней давности, когда мой возлюбленный, выпрямив спину и прислонившись к стенке, сидел у меня на кровати, увитый хищными растениями, — я придумываю, как и все прочие вечера с ним. Так проходит время — и все-таки не проходит.

Забыв имя возлюбленного, я называю его Франц, поскольку уверена, что в жизни не знала никакого другого Франца. Пыталась найти ему более красивое имя, но у каждого из тех, что мне нравились и казались подходящими, сразу отыскивался хозяин, с кем я, пусть и бегло, но была знакома, и вдруг бы он вспомнился мне именно

тогда, когда я хочу побыть наедине с моим возлюбленным. К тому же имя Франц очень приятно выговаривать, если тянуть «а» как можно дольше, начав низко и закончив повыше, но только без нажима, это прозвучало бы по-дурацки, а с изящным переходом, чтобы единственную гласную не раздавили четыре согласных по сторонам. И тогда «Франц» становится таким же красивым и темным словом, как гроб или мрак.

Никогда мне не узнать, о чем думает Франц, когда сидит вот так прямо, вперившись взглядом в темноту окна за задернутыми шторами, когда хватает ртом воздух, будто хочет выговорить какие-то слова. Впрочем, я подозреваю, что он только и думает, как бы этих слов — они опять и опять грозят слететь с губ — ему избежать. Это, должно быть, ужасные или чудесные слова.

В блеклом свете уличного фонаря, проходящем сквозь шторы, Франц — словно на плохо пропечатанной черно-белой фотографии — кажется бледен и призрачен, сливается с темнотой вокруг. Отсутствие резкости стирает возраст, возвращая лицу на этот час молодость. Как и тогда, сорок или тридцать лет назад, примостившись между вытянутых ног возлюбленного, спиной к его упругому и теплому животу, я смотрю в окно сквозь

задернутые шторы и затягиваюсь сигаретой.

В тот вечер мы знали друг друга всего две недели. До того, если мне память не изменяет, я вела довольно обыкновенную жизнь. Была замужем и даже имела ребенка, красивую девочку, ей теперь тоже, видимо, лет семьдесят или шестьдесят. Не знаю, пишет ли она мне теперь. Письма иногда приходят, но из-за испорченного зрения я не могу разглядеть адрес. В том последнем письме от дочери, которое я еще могла прочитать, она сообщила, что вышла замуж то ли за австралийца, то ли за канадца и намерена отбыть с ним то ли в Австралию, то ли в Канаду, и будто бы счастлива. Другие известия до меня не дошли. Она думает, наверное, что я умерла, оттого и прекратила писать.

После того, как я встретила Франца, муж, должно быть, незаметно исчез из моей жизни. Иначе невозможно объяснить, почему Франц в любое время приходил вот в эту квартиру, где я живу с незапамятных времен. Мужа я припоминаю как человека симпатичного и мирного. Мы, верно, прожили вместе не менее двадцати лет. Во всяком случае, наша дочь была уже взрослой, когда я повстречала Франца. Я точно помню, что никто вокруг не нуждался в моем особом внимании. А

может, и нуждался, просто я на это не обращала внимания. Однако Франц, в сравнении со мной натура более чувствительная, никогда бы не допустил, чтобы из-за него я отправляла куда-то ребенка.

Иногда (правда, редко) мне вспоминается какой-либо день из этих двадцати лет. Пусть даже я и была тогда несчастлива, но я этого не понимала до одного апрельского дня, когда мне кто-то — не знаю, кто — точно вырубил свет в моем мозгу. Ближе к вечеру, шагая по Фридрихштрассе к станции электрички, я вдруг почувствовала странное онемение языка, немедля распространившееся и на все другие органы чувств. Последующие двадцать минут известны мне лишь в пересказе той девушки, которая приняла во мне участие, когда я, дергаясь в судорогах и с пузырями пены у рта, валялась на мостовой.

Очнувшись от трехминутного глубокого обморока, я на четверть часа впала в состояние чудовищного смятения. Дико размахивала руками, когда санитары собрались погрузить меня в машину «скорой помощи», так что им пришлось — только ради моего успокоения — сделать вид, будто машина отъезжает, а спустя несколько минут вернуться и наконец доставить меня в

больницу. Девушка, сопровождавшая меня, рассказала, какой жалкий был у меня вид, какой перепуганной была я до той минуты, пока лицо вдруг не успокоилось и я разумно, хотя и устало, не поинтересовалась, что же произошло. Об отрезке времени между онемением всех органов и той минутой, когда я оказалась на ступеньках больницы, у меня в памяти не сохранилось ничего. Меня подвергли тогда все пыткам современной медицины, но не нашли никаких органических изменений, способных вызвать подобный приступ.

Даже спустя несколько недель у меня порой создавалось впечатление, что моя голова работает не так, как до приступа, словно кто-то переключил в ней полюса. Например, фамилии людей я вспоминала раньше, чем их имена, или писала «двадцать три» вместо «тридцать два», или в собственной квартире сворачивала налево, хотя точно знала: дверь, которую надо открыть, находится справа. Разумеется, я как специалист по естествознанию понимала, что у подобных симптомов непременно существует логическое, а в данном случае весьма простое объяснение. Однако приступ со всеми его последствиями становился мне тем неприятнее, чем больше

я о нем думала. Впервые я задала себе вопрос, почему вообще теория эволюции считается доказательством против существования высшего разума, ведь и сама эта теория может быть его изобретением. Мысль о том, как в тот вечер на Фридрихштрассе некто посторонний взял да и выключил меня на четверть часа, по неведомой причине чуточку изменив распределение функций в моем мозгу, — эта мысль превратилась в идефикс, пусть и занимавшую меня не совсем всерьез, но зато вполне отвечавшую ощущению, которое оставил в моем сознании необъяснимый случай. Если же этот посторонний разыграл мою смерть с тем, чтобы после воскресить, оставив на память легкое смятение в мозгу, если он полагал грубо напомнить мне о неизбежности смерти, то за всем этим следовало искать иные взаимосвязи, а не парочку взбесившихся нейронов в мозжечке.

Вызванное приступом беспокойство мне удавалось преодолевать только благодаря тому, что впоследствии я стала искать в нем смысл или поданный знак. Возможно, я только и ждала этого знака, чтобы задать себе вопрос и дать на него ответ: не будь приступ симуляцией смерти, умри я действительно в тот вечер, — что бы я пропу-

стила? В жизни можно пропустить все, кроме любви. Таков был ответ, и я знала его задолго до того, как выговорила наконец эти слова.

Франца я встретила спустя год. Я его не искала, я его не ждала. В одно прекрасное утро он оказался рядом, брахиозавр улыбнулся нам обоим, как прежде улыбался мне одной, и Франц тихо произнес незабвенные слова:

— Красивое животное.

Как кожа бывает на миг не уверена, отчего испытывает неожиданную боль — от крутого кипятка или от ледяной воды, — так и я несколько секунд не могла разобрать, что со мной происходит. То ли этот незнакомый нежный голос смеется над моим безмолвным диалогом со скелетом, то ли этот незнакомец откуда-то знает мою тайну и слышит, подобно мне, как сто пятьдесят миллионов лет назад билось сердце весом в одну тонну, и способен вдохнуть жизнь в его истлевшую плоть.

Глаза у Франца, чье имя я тогда еще не могла позабыть, поскольку его не знала, были небольшие, голубовато-серые, точно такие, как у женщин на полотнах Модильяни — только цвет, и ни миллиметра белка не видно между ресниц. Вот заблуждение, с которым я не рассталась и сего-

дня. Глаза у Франца маленькие, серо-голубые, но окруженные ровно таким белком, какой и бывает вокруг маленьких глаз. Позже мне иногда казалось, что у Франца белок даже слишком велик при таких-то маленьких глазах. Тем не менее, вспоминая, как я впервые встретилась с Францем и его глазами, я чувствую на себе именно тот взгляд, устремленный на все вокруг и в никуда, совершенно и абсолютно тоскливый.

Я часто себя спрашиваю, отчего сразу не приняла Франца — бледного, худого, с серым плащом, перекинутым через руку — за обычного серьезного господина среднего возраста и солидной профессии. Его замечание по поводу того, что брахиозавр — красивое животное, могло и не потрясти меня подобно изречению оракула; я могла счесть его пустой фразой, приглашением к беседе об исчезновении динозавров. Лет тридцать-сорок назад гибель динозавров входила в число тем, наиболее популярных у журналистов и читателей газет всех возрастных групп, даже у детей. Мне и тогда представлялось странным, что все поголовно интересуются не жизнью динозавров, а их смертью. Никто не спрашивал, как этим колоссам удавалось выжить в течение ста миллионов лет или даже дольше, а для меня

тут-то и крылась загадка. Будто это неестественно — существовать на Земле вот так долго, а потом исчезнуть. Похоже, именно эта мысль заставляла людей искать логическую, уникальную, неповторимую причину исчезновения динозавров — такую причину, какую по отношению к себе они могли бы сразу сбросить со счетов. Ведь по сути люди постоянно боятся лишь собственного исчезновения — то из-за атомной бомбы, то из-за новой эпидемии, то из-за тающих вдруг на полюсе льдов. Всем нутром они боялись гибели человечества, будто от этого зависят лично их смерть или выживание. Они сами себя начали опасаться. Со страхом наблюдали, как их род превращается в чудовище, способное лишь без меры жрать и без меры переваривать пищу, и ждали, похоже, что чудовище лопнет или уничтожит себя иным способом — или что все-таки совершится чудо. По неумеренности они явно чувствовали себя сродни динозаврам, а потому судьбу таковых прочитывали как притчу о грозящей им самим опасности. Особенно охотно они соглашались с тем, что в гибели динозавров виновен метеор. Беда явилась, понятно, с неба — и никому не хотелось принять к сведению тот факт, что крошечные черепашки пережили эту

катастрофу, какой бы она там ни была.

Наверное, только благодаря нежному голосу Франца, невнятному акценту, беспричинной серьезности маленьких серо-голубых глаз я в то утро, когда он назвал скелет брахиозавра красивым животным, не приняла его за ищущего утешения апокалиптика. Убедившись, что он не насмехается над моим утренним благоговейным молением подле брахиозавра, я ответила:

— Да, красивое животное.

Тысячу раз, а то и больше, переживала я с тех пор эту минуту, хотя несравненно чаще запрещала себе ее переживать, страшась, что сей драгоценнейший миг моей жизни утратит очарование из-за неуемной жажды переживать его снова и снова. Но всякий раз, когда я все-таки позволяю себе встать под стеклянным куполом нашего музея рядом с Францем и ответить ему: «Да, красивое животное», — всякий раз начинает звучать та чудесная музыка, что подобно лучам света льется сквозь стеклянный купол, отзывается эхом во всех уголках зала и заставляет дрогнуть динозавровы кости. «Да пребудут в прославлении…» — поют небесные голоса, а Франц улыбается.

Позже Франц рассказывал, что, едва войдя в зал

и заметив меня возле скелета, он был взволнован неизъяснимым предчувствием и не мог не обратиться ко мне, в свою очередь охваченной предчувствием, хотя даже и не помнил, когда в последний раз без обиняков заговаривал с женщиной, если не считать неловких опытов юности.

Неважно, сто лет мне или только восемьдесят, неважно, давно ли — сорок ли, тридцать или шестьдесят лет — я размышляю о том, что же происходит, когда мы впадаем в состояние, обозначаемое словами: «Я люблю». Хоть еще полвека ломай я над этим голову, разгадки мне не найти. Не могу даже сказать, входит ли любовь в нас, из нас ли исходит. Порой мне кажется, любовь вторгается внутрь подобно некоему существу: месяцами, даже годами оно подкарауливает, пока однажды нас не одолеют воспоминания или сны, и вот тогда оно проникает в наши жадно открытые поры, смешиваясь с нашим естеством. Или же проникает внутрь как вирус, чтобы затаиться в безмолвном ожидании, и потом, однажды сочтя нас достаточно ослабленными и беззащитными, проявляется в виде неизлечимой болезни. Не исключено и то, что она пленницей живет внутри нас с самого рождения. Редко удается ей

вырваться на свободу из тюрьмы, каковой мы сами и являемся. Представляя себе любовь как заключенного с пожизненным сроком, которому удалось бежать, я особенно хорошо понимаю, отчего в редкие минуты свободы она так бушует, отчего безжалостно нас мучит, то вознося на вершину блаженства, то бросая в бездну отчаянья. Словно хочет показать, что готова все нам простить, если только мы позволим ей властвовать, и как она накажет нас, если мы ей этого не позволим.

Видимо, моя любовь подготовила путь к свободе задолго до того, как я встретила Франца. С тех пор, как я задала себе вопрос и на него нашелся ответ, с тех пор, как я поняла, что в жизни можно пропустить все, кроме любви, — с тех самых пор она рыла подкоп. Когда я впервые увидела Франца, она уже была на свободе. С самого начала именно она решала, как мне поступить. Не припоминаю, чтобы в истории с Францем я вообще принимала хоть какие-то решения. Не потому, что она мне запретила, просто нечего было решать, все решилось само собой с первой минуты. Недолго я пыталась противостоять ее воле, хотя бесцеремонность ее обращения со мной казалась оскорбительной. Однако попытка

указать ей место, пусть бы и самая ничтожная, непременно заканчивалась ее победой и новым унижением для меня, причем всякий раз она заставляла признать, что мне надо следовать ее плану — и точка.

Лишь с той поры, как Франц меня оставил и я начала ждать его возвращения, мне удается жить в согласии с моей любовью. Я не вижу более разницы между нами, и все с тех пор со мной происходящее воспринимаю как благо.

Разумеется, тогда — лет пятьдесят-шестьдесят назад — я считала, что все мое счастье и несчастье зависит от Франца.

Я жила в странную эпоху. Когда я встретила Франца, эта эпоха как раз завершилась. Теперь я не читаю газет и, если не считать служащего в окошке банка, не знаю ни одного человека, с кем можно было бы перемолвиться хоть словом. Оттого мне и не известно, каков нынешний взгляд на означенную эпоху и как о ней говорят. Однако я не могу себе представить, что сегодня хоть кто-нибудь понимает, каким образом шайке бандитов под прикрытием международного освободительного движения удалось создать герметичный заслон между всем восточноевропейским материком, включая внутренние

водоемы, некоторые прибрежные острова и оккупированные территориальные воды, и остальным миром, а также выдать себя за легальное правительство соответствующих стран. Все это произошло в результате войны, которую развязала и проиграла отечественная, то есть немецкая, шайка бандитов. В число победителей входила некая западноазиатская республика, где известная бандитская шайка вот уже несколько десятилетий находилась у власти, и в качестве победного трофея ей была обещана Восточная Европа, включая половину города Берлина, того самого, где моя злосчастная мать произвела меня на свет между взрывами двух бомб.

В юности я прочитала книгу, заглавие которой состояло из года — тысяча девятьсот какого-то, — и в этой книге переживаемое нами состояние было описано довольно похоже, только у нас все происходило еще глупее, — видимо, сообразно глупости самих организаторов. К счастью, я позабыла многое из этого сорокалетнего периода. Да все было слишком абсурдно, чтобы запоминаться. Мне полагалось этот отрезок истории знать наизусть, как названия костей или названия мест раскопок, чем я так и так занималась, а главное — интересовалась. Кто привык, как и

я, мыслить сотнями миллионов лет, тому легче воспринимать ту шайку с ее сорока годами правления как обреченную на смерть мутацию, чье существование в мировой истории заняло не больше времени, чем требуется брахиозавру для одного-единственного шага. Смело заявляю, что быт и нравы той эпохи наблюдала преимущественно как естествоиспытатель, одновременно изучая со всем вниманием собственную реакцию на лишенные логики и опасные для выживания вида условия, и время от времени даже делая записи, от чего мне теперь ни жарко ни холодно, поскольку я не могу читать, а следовательно не впаду в искушение и ради пустого любопытства не сведу на нет свою многолетнюю работу над забвением.

Как и всякая судьба в Восточной Европе, моя судьба была подчинена абсурдному произволу и дичайшим образом переломана. Помимо брахиозавра наш музей обладал одним из лучших в мире собраний динозавров вообще. У нас были выставлены дикреозавр, дизалотозавр, кентрурозавр, платеозавр, брадизавр, но самое главное — у нас в музее была доисторическая птица, изумительная и драгоценная доисторическая птица. А меня, жаждавшую быть поклонницей и перво-

открывательницей этой птицы, превратили в ее прислугу. Мне разрешалось за ней следить, отыскивая ломкие участки ее тела, но не разрешалось отправиться к ее сестрам и братьям в Монтану, Нью-Джерси, в Коннектикут или в долину реки Ред-Дир. Мне нельзя было посмотреть на странные, похожие на птичьи, следы, которые Плиний Моуди из Саут-Хадли, штат Массачусетс, обнаружил у себя в саду еще в самом начале двадцатого века. Мне нельзя было также и участвовать в конгрессах, где я могла повстречать людей, все это видевших.

Тому, кто на протяжении своей жизни не интересовался одним предметом более, чем всеми остальными, кто не был окрылен надеждой освоить все, данного предмета касающееся, и увидеть, и потрогать, — тому не понять моего несчастья. Примерно в трех сотнях метров от нашего музея стояла стена, возведенная посреди Восточной Германии вокруг западноевропейского анклава — западной части Берлина. В годы существования стены мне казалось не важным, что она отделяет меня от значительной части моего города, но все же я не переставала удивляться, как этому бандитскому плану удалось осуществиться и как четыре миллиона жителей города согласились

с этим железобетонным хамством, как если бы калифорнийцы вынуждены были согласиться с тем, что геологические пласты под их ногами однажды разойдутся навовсе. Вот от чего у меня, стоило только задуматься, кружилась голова — как при попытке представить себе бесконечность, — так это от непостижимой мысли, что уродливая бетонная конструкция трехметровой высоты отделяет меня не просто от остального человечества, но и от всей его древнейшей истории. Украли у меня палеозой и мезозой, меловой период и юрский период, украли все, чему я собиралась посвятить жизнь. Помню одного молодого человека, который работал со мною вместе в отделе динозавров и годами мечтал о том, чтобы со стеклянной крыши над головой брахиозавра отправиться на воздушном шаре в полет с посадкой через триста метров по ту сторону стены. Но для этого необходим восточный ветер, а тут задувает редко и непредсказуемо. К тому же данный план требовал основательной подготовки. Разогретый воздух не годился из-за горелки, чей огонь ночью заметен отовсюду, а полет планировался молодым человеком, понятно, на ночь. Кислород требовал транспортировки не менее десятка стальных баллонов — тяжелых, длиной

метра в полтора — на стеклянную крышу, где им следовало бы неприметно лежать неделями в ожидании восточного ветра. Но, несмотря на все это, молодой человек в один прекрасный день исчез, как моя дочь. И прислал нам открытку из Рима. Я хорошо его помню, потому что тогда часто представляла, будто стою ночью в темном зале возле брахиозавра и вижу сквозь стеклянную крышу, как шар постепенно наполняется, оболочка его разглаживается и он уносит с крыши молодого человека. Видела, как подметки ботинок отрываются от стекла, а ноги болтаются, словно он бежит по воздуху. Я действительно жила в странную эпоху. Кто знает, понимала бы я в динозаврах больше, если бы могла пройти их путями по всему миру; может, мой вечный диалог с тем единственным динозавром, кого я полюбила вместо всех остальных, вернее приближал меня к их тайне, пусть даже моих сведений об этом не хватило бы и на строчку в учебнике. Кто знает.

* * *

Нечасто Францу удавалось остаться у меня с вечера до следующею утра. Обыкновенно он спрашивал в половине первого, который час, но это было излишне, поскольку в половине первого

он точно знал, что сейчас половина первого и ему пора собираться домой. Мне и по сей день неизвестно, почему Францу полагалось быть дома в час, а не в два или в три, но я уверена, что эти часы, прибавляй их или убавляй, ничего не меняли. Те редкие ночи, которые мне не приходилось делить с женой Франца, если она уезжала без него дня на два, на три погостить к родне, я засыпала много позже, чем он. Прекрасно помню, как он выглядел во сне, когда веками — нежными, похожими на крылья мотылька, — прикрыты маленькие серо-голубые глаза, когда безвольная нижняя губа — днем он ее предусмотрительно поджимает, чтобы не выдавала, — расслабляется, когда он, в изнеможении вытянувшись, ровно и часто дышит едва прикрытым ртом, будто набегавшийся ребенок. Я помню, как он мерз, зарывался в подушки, как раскидывался душными летними ночами среди хищных растений, тонкий и вольный, точно фигурка из матиссовского хоровода.

Самым удивительным было в нем то, что я с самого начала его не боялась. Из всех мужчин, когда-то любимых мною, Франц оказался единственным, кого я не боялась. Иначе невозможно объяснить, как это мне, уже не молодой, уда-

лось преодолеть робость перед чужой мужской плотью и в один прекрасный день всем своим нагим телом, чье постепенное угасание я годами наблюдала с волнением и сочувствием, улечься рядом с нагим телом Франца. Уже на следующий день я не смогла вспомнить, какое слово или жест превратили в ничто мою решимость никогда более не подвергать себя ни радостям, ни страхам подобных откровений. А Франц знал, но не говорил. Однажды, когда я стала особенно на него наседать, потому что в собственной амнезии мне чудилось нечто более серьезное, он провел по моей щеке тыльной стороной указательного и среднего пальцев и сказал:

— Вот что это было.

Возможно. Вот уже сорок или шестьдесят лет я снова и снова стараюсь извлечь эти секунды из бесконечности забвения. Они утрачены. Помню только попытку повтора: пальцы возлюбленного гладят мое лицо, убедительно — как данное обещание, и поспешно как обещание, взятое назад. Или так, как я в детстве, тайком, в неудержимом влечении впервые дотронулась до брахиозавра, словно одного прикосновения было достаточно, чтобы приобщиться к его тайне. Стоило мне тронуть его, как я отдернула руку, охваченная

трепетом. Все смерти, свершившиеся между его жизнью и моей жизнью, в какую-то долю мгновения искрой пробежали между подушечками моих пальцев и его окаменевшей плотью. Вот что чувствовали мы с Францем, когда кожа его пальцев и кожа моей щеки соприкоснулись, молниеносно сообщив друг другу непостижным любовным кодом то, что словами выразить невозможно.

С тех пор я начала терять память. Первыми я забыла мужчин, которых знала до встречи с Францем. Сначала я их забыла не окончательно: помнила имена, профессии, внешность, помнила время нашего знакомства и даже их тела тоже помнила. И только их прикосновения позабыла. Не могла себе и представить, что испытывала радость или даже просто удовольствие оттого, что другая, не Франца, рука осваивала мое тело, хотя точно знала, что именно так оно и было. Мне не верилось, что до Франца я хоть однажды любила, хотя перед встречей с ним была уверена: по крайней мере двоих или троих в своей жизни я любила искренне и горячо, пусть меня и не оставлял страх пропустить любовь после того, как однажды в апреле, ближе к вечеру, некто или нечто посреди Фридрихштрассе напомнило мне о неизбежности смерти.

Тогда я вообще-то забыла не мужчин, хотя мне именно так и казалось. Лишь сегодня, после двадцати пяти или сорока пяти лет бесконечно повторяющейся жизни с Францем, я узнала о забвении и воспоминании достаточно, чтобы понять: тогда я в первую очередь забыла самое себя. Забыла все страсти и сладострастие, все нежности и желания, а всё, способное поставить под сомнение уникальность моей любви к Францу, стерла из памяти, словно этого никогда и не было.

В последние недели или годы мне вспоминается то одно, то другое, и это может означать, что моя любовь к Францу, единственно ради которой я провела долгие годы в своей квартире, постепенно ослабевает. Нет у меня другой причины жить, кроме любви к Францу, оттого я и думаю, что скоро умру. Наверное, все равно мне скоро умирать, и слабеющая моя любовь есть лишь свидетельство тающих жизненных сил: так воспоминания о лицах и событиях, давно ушедших в небытие, возможно, указывают на скорую мою кончину, коль правда, что человек — как говорят — в преклонном возрасте вновь переживает свою юность, а потом детство, и так до исходной точки, где в смерти сходятся прошлое и будущее. Если я

не ошибаюсь, хотя и такое возможно, ведь лет десять или двадцать назад я тоже чувствовала себя столь обессиленной, что и не думала пережить следующий месяц, короче, если я не ошибаюсь и на этот раз действительно умру, значит, любовь с Францем я переживаю в последний раз и непременно должна вспомнить все в точности, иначе важнейшие и прекраснейшие дни, а чаще — ночи просто забудутся.

* * *

Лежу рядом с Францем. Первое лето, прожитое нами вместе: возможно — единственное, возможно — второе или пятое, не знаю. Лежу рядом с Францем, его не касаясь, и рассказываю про похороны моего друга Эмиля. Франц жил в ином, нежели я, времени: он из Ульма. Странную эпоху, откуда я родом, он знает только по газетам. С большим трудом мне удается объяснить Францу, как это мы смогли устроить Эмилю такие похороны, жутко смешные и невозможные ни в каком-либо другом году, ни даже на месяц-другой позже или на месяц-другой раньше. Я знала двух уроженцев земли Саар в ту странную эпоху, завершившуюся как раз за полгода до описываемого лета. Одного уроженца земли Саар, профессионального кро-

вельщика, наша международно-освободительная шайка провозгласила главой государства. Другим уроженцем земли Саар был Эмиль. Может, их и больше, но я знала только двоих. И уж если во главе правительства непременно должен был стоять уроженец земли Саар, то лично я предпочла бы Эмиля. Ничего не имею против кровельщиков, и все же умение грамотно крыть черепицей крышу считаю недостаточным для руководства таким сложным явлением, как государство, пусть даже руководство и осуществляется в форме диктатуры: и произвол со временем начинает требовать ума и образования. Эмиль был умен, он уважал образование и людей, по его мнению, обладающих таковым. Мы с Эмилем познакомились, когда он привел школьников в музей, а я выступила перед ними с коротким докладом о брахиозавре. После этого мы время от времени встречались в кафе рядом с музеем, или Эмиль приходил ко мне в гости и ночи напролет спорил с моим мужем о том, могла или не могла линия Мажино остановить немцев, будь она не врыта в землю, а поднята на три метра в высоту, подобно стене, возведенной вокруг Берлина, и проходи она не только между Детмольдом и Мезьером, посреди гор, где нормальный человек так и так

не станет вести войну, но еще и по фландрской границе, коли уж немцы еще в Первую мировую свернули к Фландрии. Я все отлично запомнила, поскольку вовсе этим не интересовалась, и всякий раз, когда оба они перестраивали укрепления на линии Мажино, спрашивала себя, из чего только сделан человек, если ему это интересно.

Потом Эмиль ушел из школы. Получив повышение, он, по его же словам, валял дурака в коридорах власти, пока ему не вскрыли грудную клетку, чтобы заменить закупорившиеся сердечные сосуды частичками вен из его же голени.

Не знаю, были ли тогда все уроженцы земли Саар такими же честолюбивыми, как кровельщик и Эмиль, причем Эмиль-то был действительно человек порядочный, иначе вряд ли бы он чуть не умер из-за валяния дурака в коридорах власти, включая многолетнюю активность в качестве правой руки кровельщика.

Вскрытая грудная клетка у Эмиля зажила. Только шов от ключицы до нижнего ребра — напоминая мне всякий раз, когда тот его предъявлял, зашитого фаршированного гуся, — только этот шов сообщал о чудом миновавшей Эмиля смерти. Он вышел на пенсию по инвалидности и решил написать книгу о якобинках в период Майнцкой

республики. Когда бы не болезнь, он так и остался бы дураком, — утверждал Эмиль, имея в виду, что в международном освободительном движении, участником коего в свое время он сам являлся, не распознал преступное сообщество, каковым оно безусловно и было, и по всей вероятности продолжал бы свою службу, не освободись он от нее по болезни.

Тут, разумеется, все наоборот, ведь Эмиль и заболел-то потому, что не мог вынести идиотизма в такой мере, какой требовало от него честолюбие уроженца земли Саар, но данную взаимосвязь, проистекавшую из иной логики, нежели «линия Мажино» от Фландрии до Базеля, Эмиль не разглядел.

Итак, Эмиль стал пенсионером, и как многим другим старым или больным людям, не способным выполнять регулярную работу, ему открылись врата в мир, установленные в ту пору под застекленным кубом вокзала Фридрихштрассе. Каждый понедельник он отправлялся на Курфюрстендам, покупал журнал «Шпигель» и пил кофе у «Кемпински». Ради такого удовольствия он с готовностью всякий раз жертвовал львиной долей своей пенсии, потому что за пятьдесят марок, необходимых для этого ежемесячно,

ему приходилось на черном рынке выкладывать шестикратную сумму в нашей национальной валюте. Возвращаясь, он восторгался виденными им цветочными магазинами и книжными лавками так, словно рассказывал о Сикстинской капелле или о Ниагарском водопаде. Однажды во время путешествия в мир Эмиль повстречал Сибиллу, бывшую танцовщицу, которая из-за сложного перелома ноги вынуждена была еще в юности оставить балет и вместо этого, не желая вовсе отказываться от любви к танцу, открыла магазин театральных костюмов.

Эмилю пятьдесят девять, Сибилле сорок девять. Думаю, это была прекраснейшая из влюбленных пар, когда-либо мною виденных. Во время общего разговора они могли вдруг посмотреть друг на друга таким глубоким взглядом, что каждый из сидевших за столом растроганно обрывал свою речь, погружаясь в воспоминания о сходных мгновеньях счастья в собственной жизни. Оба они в доказательствах своей любви на глазах у людей были сдержанны и стыдливы, но зато искали любую возможность друг друга невзначай погладить или на секунду, как бы случайно, друг к другу прислониться, будто старались вновь и вновь увериться в реальности другого, будто

никак не могли поверить в свое грандиозное и нежданное счастье. Спустя несколько месяцев Эмиль распорядился подсчитать, какую он будет получать пенсию в случае переезда в западную часть города, а Сибилла занялась поисками более просторной квартиры.

И вдруг за одну ночь странная эпоха завершилась. Шайку освободителей лишили власти, Берлинскую стену снесли, и Сибилле впредь не надо было в полночь покидать нашу часть города, когда она навещала Эмиля, а квартира Эмиля оказалась достаточно просторна для обоих.

Но внутри самого Эмиля клокотало нечто такое, за что Сибилла не отвечала, чего она не понимала, чего и я не могла понять, хотя я-то, зная Эмиля давно, не особенно удивилась, услыхав о его проснувшейся тоске по коридорам власти. Эмиль достал у врача справку, что излечился от своей болезни, и примкнул к одной из новообразованных партий, отныне с утра и до ночи борясь за победу таковой на выборах. Снова он стал правой рукой, только на этот раз — правой рукой профессионального закройщика, взлетевшего на высокий пост из-за нехватки кадров в новой партии, и вот его-то кабинет и возглавил Эмиль. Наконец-то у Эмиля появилась возможность про-

кладки собственной линии Мажино, причем не задним числом в связи с давным-давно проигранным сражением, а в реальном времени и ради будущего. На четыре месяца Эмиль превратился в человека, который вершит судьбы истории. Победу своей партии и взлет до бургомистра того деятеля, чьей правой рукой он являлся, Эмиль пережил на три недели. О его смерти я узнала из газеты: «После третьего инфаркта в квартире своей гражданской супруги скончался глава администрации бургомистра Эмиль П.».

Позвонила Сибилле и еще ничего не успела спросить, как та — словно до того уже сто раз неосознанно повторяла эти слова самой себе — сообщила:

— Он умер не у меня в квартире.

Несколько последних месяцев Сибилла и Эмиль встречались редко. Сибилле, пожертвовавшей даже своим магазином театральных костюмов, трудно было понять его рвение на новой службе, но она приписывала это странностям той эпохи, в какой он жил и которую ей, вероятно, никогда не понять до конца, хотя и она — так Сибилла заметила однажды — тоже вынужденно бросила балет.

Чудными мне казались все похороны, на

которых я когда-либо присутствовала. Заданность скорби — любил ли ты покойного или не любил, — небрежность самого ритуала, беззастенчивая ложь заправских говорильщиков над гробом, — все это вынуждало воспринимать эту торопливую инсценировку прощания как комедию, как жалкое зрелище. Однако похороны Эмиля были столь же комичными, сколь и грандиозными. Не знаю, как это ему удалось, несмотря на скоропостижную кончину, оказаться на самом знаменитом кладбище города в непосредственной близости от Гегеля и Брехта, о чем он — пусть ни в коей мере и не имея видов на осуществление данных притязаний — всегда мечтал. Но допускаю, что Эмиль вообще иного и не желал, кроме двух квадратных метров кладбищенской земли, что он предал свою любовь и Сибиллу, что он пять-десять лет отмеренной ему жизни отдал за единственный шанс ошиваться рядом с вечностью. Эмиль прекрасно знал о смертельной опасности, которой подвергался, вступая в должность. Вот он быстренько и составил завещание, выразив в нем настойчивую просьбу о захоронении на кладбище Доротеенштедтишер, в чем бургомистру трудно было отказать, раз уж он, Эмиль, действительно за него умер. Именно

об этом, я полагаю, думал Эмиль, предпочтя вечность на прославленном кладбище короткому пребыванию рядом с Сибиллой. Он вспомнил какую-то бывшую подругу, которая ухаживала за ним в период смертельной болезни и взяла на себя организацию его быта в бессонные ночи перед выборами и в первые дни после победы. Стирала Эмилевы рубашки, даже ночью варила ему суп и вызвала врача, когда Эмиль умер. Так и вышло, что у разверстой могилы оказались две вдовы: окаменевшая Сибилла с большим букетом красных роз и, с букетом белых роз, бывшая подруга, в обращениях ораторов ставшая «дорогой госпожой Вагнер», в то время как Сибиллу никто и не упомянул. Всю траурную церемонию госпожа Вагнер просидела в первом ряду. Сибилла опоздала. Как раз выступал заместитель главы новой партии, и тут она тихо вошла в часовню, но дверь за собой захлопнула так резко, что все к ней обернулись, увидели, как она стоит в дверном проеме с красными розами и бледным лицом, на котором поблекли даже веснушки. Госпожа Вагнер, прежде никогда не видевшая Сибиллу, кажется, мгновенно сообразила, кто стоит в дверях, и снова выпятила вперед подбородок, то ли с испугом, то ли с презрением, но уж

точно со всей решимостью не позволить, чтобы ей испортили роль спутницы жизни покойного. Заместитель главы партии сообщил, что знал Эмиля всего несколько месяцев, однако находился под большим впечатлением от его личности. Тот же текст повторил второй выступающий, молодой человек из администрации бургомистра. Большинству присутствующих Эмиль был знаком явно не более нескольких месяцев, что госпожа Вагнер осознала, видимо, с большим облегчением. Жутко было видеть, как госпожа Вагнер стоит у могилы и раз сто, а то и больше, протягивает руку для сочувственного пожатия.

Когда мне было лет пять-шесть, я в сточной канаве нашла голову куклы-пупса. Дело происходило после войны, спустя год или два. Мне ужасно захотелось куклу-пупса, но то ли их вообще не было, то ли у матери не хватило денег, короче, мне пришлось удовольствоваться неожиданно найденной головой, положить ее в игрушечную коляску, прикрыть шею, будто к ней примыкает и туловище, и не начни какой-то хулиган надо мной во весь голос насмехаться, я тешилась бы иллюзией, что выгуливаю куклу, и была бы счастлива. Над госпожой Вагнер никто не смеялся, не смеялся по крайней мере до тех пор, пока я могла

это слышать, и не исключено, что остаток жизни она провела в состоянии счастливого вдовства и, упоминая об Эмиле, называла его «своим покойным мужем».

Во время похорон она, как видно, еще не свыклась с новой ролью, как бургомистр не свыкся со своей. Бургомистр явно напрягался оттого, что букет цветов за него нес, а потом и возложил на могилу подчиненный, ведь ничто не мешало бургомистру нести в своих руках этот букет среднего размера, ничуть не больше букета от Сибиллы и госпожи Вагнер. В стороне от остальных он одиноко шагал взад и вперед, а на расстоянии двух-трех метров за ним следовал подчиненный с букетом. Стоило бургомистру сменить направление своей бесцельной прогулки, как им обоим приходилось восстанавливать заданный порядок: бургомистр впереди, подчиненный сзади. Откуда бы — разве только из наблюдений за другими политическими деятелями по телевизору — откуда бывшему закройщику знать, что именно соответствует его новой должности? Поднаторевший в отношениях с властью, Эмиль, возможно, и дал бы ему совет, но Эмиль умер.

Франц тихо лежит рядом, тусклый свет уличного фонаря, пробиваясь сквозь белые шторы,

падает на его лицо. Я не вижу, закрыл он свои маленькие серо-голубые глаза или нет.

— Вот какое лето, — поделилась я с Францем, — теперь все уже не те, кем были год назад. Мастер-закройщик теперь бургомистр, бывшая подруга Эмиля — вдова, люди, еще прошлым летом не знавшие Эмиля, под видом первых друзей держат речи у его гроба, а непризнанные старые друзья стоят рядом и слушают. Как будто Эмиль только и прожил этот самый год. Как будто мы все начали жить только с этого самого года. Одна Сибилла вернулась в свой магазин театральных костюмов и стала такой же, как была до встречи с Эмилем, просто пережив одним предательством больше.

Сейчас Франц задаст мне тот же вопрос, что тридцать или пятьдесят лет назад. «А ты-то кем была прошлым летом?» — вот такой вопрос, и я не буду знать, что ему ответить, поскольку теперь уже не представляю, кем я вообще была без Франца. Могу только сказать, кем или чем я не была. Год назад — не была его возлюбленной. Оглядываясь, я думаю, что вся моя жизнь от самого рождения только и имеет смысл, если толковать ее как долгое ожидание Франца. Порой мне даже кажется, что и Берлинскую стену снес-

ли лишь ради того, чтобы Франц наконец-то меня нашел. И если бы я, как и каждое утро, не стояла в благоговейном раздумье подле брахиозавра, пытаясь обрести утешение за все, что упустила, и если бы моя жизнь текла не столь несчастливо, и если бы место у ног брахиозавра не было для меня одновременно и Монтаной, штат Нью-Джерси, и садом Плиния Моуди в Саут-Хадли, штат Массачусетс, то Франц не сумел бы меня найти.

Однако Франц не спрашивает, кем я была прошлым летом. Возможно, он и тогда не спрашивал, но я-то ждала столь очевидного вопроса, тут же сделав открытие, что, задай он его на самом деле, я бы ответа не нашла. Вообще-то даже и невозможно, чтобы Франц задал такой вопрос, ведь он сам на похожие вопросы никогда не отвечал, по крайней мере не отвечал всерьез. На вопросы, требующие откровенности, у него имелись наготове три ответа: «Возможно», «Да, наверно» и «Ну, не знаю», — причем лишь последняя фраза — «Ну, не знаю» — содержала в себе готовность нечто сообщить, в то время как формулировки «Возможно» и «Да, наверно» свидетельствовали о решительном отказе продолжать разговор. Спроси я Франца, кем он был прошлым летом, из его уст прозвучало бы, видимо: «Ну, это я не знаю».

В его словах сквозило бы легкое и непонятное отчаяние, относящееся как к бессмысленности вопроса, так и к собственной несостоятельности в смысле ответа. А спроси я тогда, не испытывает ли он отвращения к подобным вопросам, Франц ответил бы: «Возможно», — добавив этому слову оттенок осторожного, робкого предупреждения — мол, дальше не спрашивай. А спроси я все-таки, не испытывает ли он отвращения к людям, задающим подобные вопросы, или же он из тех, кто о себе самом ничего знать не желает, — тут бы он произнес: «Да, наверно». Франц ненавидел грубость, но, как и все люди на свете, не мог без нее обходиться. Грубость других он умел отразить при помощи фразы: «Да, наверно», — как Персей отражал зеркальной поверхностью щита смертоносный взгляд Медузы, — и вернуть ее отправителю.

Чем дольше я об этом думаю, тем меньше понимаю, зачем десятилетиями пыталась навязать Францу этот дурацкий вопрос. Сколько раз я переживала заново тот вечер, столько раз он заканчивался вопросом Франца: «А ты-то кем была прошлым летом?». А правда состоит в том, что вопрос был задан, но остался без ответа, мною задан и оставлен без ответа тоже мною, без ответа

— вот уже лет сорок-пятьдесят. Впрочем, я его давно не пытаюсь отыскать. Меня удовлетворило сознание того, что в жизни мы менее всего способны познать самое себя. Мы даже понятия не имеем, как сами выглядим. Узнаем свое отражение в зеркале, узнаем себя на фотографиях или на кинопленке, и на этом всё. Вот скажут нам, что мы на кого-то там похожи, и мы даже сообразить не способны — чем именно. В себе мы не видим собственных детей, себя не видим в собственных родителях. Прежде, еще интересуясь своей внешностью, я знала: глаза серые, нос с горбинкой, рот — на мой вкус слишком маленький. Но не знала, была бы я себе симпатична, если бы случайно где-нибудь с собой повстречалась. Оттого мы и пялимся так жадно на фотографии, призванные раскрыть нам то, чего сами увидеть мы не в состоянии: там мы в движении, мы среди других, мы смеемся и мы сосредоточенны, мы с закрытыми глазами или даже спим, и во всех случаях мы иные, нежели в проверенном и обманчивом зеркальном отражении. Все надеемся на секундочку испытать отчуждение между собой и образом в зеркале, разок увидеть себя, как другие видят нас, а мы их. Но это не удается.

Предоставив свое обнаженное тело взгляду и

прикосновениям Франца, я стала спрашивать себя, что он видит, когда смотрит на меня.

Лежу перед ним, раскинувшись всем телом. Сейчас зима или поздняя осень, голые ветки клена за окном не мешают бледному фонарю просвечивать сквозь шторы. Неприкрытая, лежу перед Францем, а он занят доскональным исследованием линий моего тела, кончиками пальцев он поглаживает рубцы и шрамы, неожиданно мягкую грудь, и его заявление, будто я красива, не может не повергнуть меня в смятение. Но что же видит Франц, когда на меня смотрит? Очень может быть, что вся моя красота в глазах Франца — маленьких, серо-голубых — зиждется на слабости его зрения, ведь когда мы в постели, Франц, понятно, очков не надевает. Но я-то пока хорошо вижу, и при чтении испытываю неудобство, только если устану, по этой причине я за несколько дней до встречи с Францем заказала себе очки, хотя в присутствии Франца ни разу их не надела. Я несколькими годами младше Франца, я еще хорошо вижу, и все же считаю, что Франц тоже очень красив. Франц, похоже, не верит в свою нынешнюю красоту, как я не верю в мою, но с удовольствием, как и я, ссылается на былую. Стоит мне похвалить какую-либо часть его те-

ла — например, бедра, его стройные и высокие бедра, или его крепкие, хотя и не очень широкие плечи, — как Франц произносит:

— Посмотрела бы ты на меня, спортсмена-дискобола, лет тридцать назад!

А я, стоит Францу заговорить о моей красоте, отвечаю:

— Была когда-то…

Теперь мне сто лет, и на мое счастье он не может увидеть, как моя плоть повисла на костях. А я вот вижу Франца таким: лежит, руки под голову, взгляд устремлен прямо на одеяло, — Франц среди хищных растений, будто на летней лужайке, а я, как и лет тридцать-сорок назад, могу себе представить его семнадцатилетним или восемнадцатилетним.

— Ты моя поздняя первая любовь, — сообщаю я Францу, и он отзывается:

— Вот как? — и это звучит, словно вопрос, словно требование дальнейших объяснений.

Не было у меня никакой первой любви, по крайней мере счастливой не было. Из тех, кого я любила, меня не любил никто, а из тех, кто любил меня, не любила никого я. Недостаток или высокомерие? Счастье казалось недостижимым. А доступное счастье оказывалось ложным.

— Да-да, — подтверждает Франц, — да.

Помню точно, что произнес Франц в тот вечер: исполненное тоски «да», замкнутое в самом себе «да», и его глухое эхо. Тому уже десять или двадцать лет, как я это вспомнила. А в тот вечер услышала и забыла. Любопытно, что многое мы знаем и в то же время не знаем. Разумеется, я всегда знала, что у меня не было никакой первой любви. Не могла не знать, ведь я тогда, совсем молоденькой, ждала и искала ее напрасно. С завистью смотрела на легкое и нехитрое счастье вокруг: влюбились, обручились, поженились, — а сама-то я необъяснимым образом, за счет свойств характера или чего-то подобного, была его лишена. Тоскуя по счастью, я одновременно его презирала. Кажется, я также презирала и счастливых людей, я по сию пору спрашиваю себя, отчего душа моя исполнилась такого мрака — из-за войны ли, когда я родилась, из-за невыносимой ли материнской жажды жизни, да кто знает? Во всяком случае, первой любви я не испытала, о чем никогда и не задумывалась до встречи с Францем. Лишь с тех пор, как я знаю Франца, эти слова обрели смысл. Не испытав первой любви, я что-то пропустила в жизни.

А у Франца была первая любовь. Он сам рас-

сказывал. Даже предъявил фотографии: Франц с какой-то девушкой то ли на пляже, то ли на полянке, и в их лицах торжествует уверенность, что они принадлежат друг другу. Нет сомнения, они родились друг для друга, они навеки останутся вместе. Пока умеют это выразить. Франц перегнулся домиком, а девушка залезла внутрь и сидит на корточках, скрестив ноги и руки. Правая рука Франца висит над ее грудью, но груди не касается.

На другой фотографии Франц один, маленькие глазки буравят серо-голубое небо, словно хотят вобрать в себя печальную его краску.

— Да-да, — произносит Франц, — да.

И я сразу об этом забываю. А если не забуду, если спрошу сейчас у Франца, что означает его «да», то он ответит, что мол, с моим легкомысленным утверждением, будто счастье недостижимо, нельзя не согласиться, мол, любовь существует лишь вне пределов реальной жизни, и это неизбежно ведет к уничтожению самих любящих людей. Ответит, что Тристан создавал препятствия, поскольку это понимал. Что Орфей нарочно обернулся, поскольку в действительности не собирался спасать Эвридику, он и любить ее не собирался, он только хотел воспевать свою

бессмертную к ней любовь — до самой смерти. Вот как ответит Франц, если я спрошу, что означает его «да», и знать мне этого совершенно не хочется.

Сколько я помню окружающих людей, они всегда находили невероятно смешным, если кто-то в возрасте, когда у людей бывают взрослые дети или даже внуки, повышенный уровень холестерина и угроза инфаркта, если кто-то в таком возрасте утверждал, будто встретил упущенную первую любовь. Возможно, я и сама так думала до тех пор, пока однажды апрельским вечером мне не переставили в голове полюса. С любовью — это как с динозаврами, когда весь мир любуется их смертью: Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Анна Каренина, Пенфесилея, — всегда только смерть, всегда только жажда невозможного. Не могу поверить, что люди до такой степени неспособны любить, как они утверждают. Просто они дали себя убедить тем несчастным, кто, еще не поняв, что делают, в смертельном страхе исторгли из себя первую любовь.

* * *

Люди, утверждающие, будто вспоминают свое детство с радостью, всегда мне были несимпа-

тичны, хотя и в те времена, когда я таковых встречала, я понимала, что к ним несправедлива. Почему бы человеку, чье детство можно назвать счастливым, не вспоминать о нем с радостью? А я свое детство вспоминать не люблю, и юность тоже, обыкновенно я о них вообще не вспоминаю. Но иногда противостоять этому невозможно, и я вдруг оказываюсь вместе с Гансиком Пецке возле сточной канавы, и лето, и никаких ботинок, а Гансик жует резинку, и я пытаюсь выклянчить у него половину. Гансику жалко, но потом он все же вытаскивает изо рта сероватый шарик, разделяет его грязными пальцами, указательным и большим, ловя языком бесценные нити, и отдает мне малую часть, и вот уже я разжевываю измызганный, размягченный Гансиковой слюной склизкий комочек. Мы с Гансиком намерены пожениться. Однажды зимой Гансик мне доказал, что может, пустив струю в снег, нарисовать зайца. Об этом я вспоминала позже, прочитав, что мне свойственна «зависть к пенису». Правда, по-моему, я никогда в жизни не испытывала к пенису зависти, даже в тот момент, когда Гансик вырисовывал на снегу красивые и длинные заячьи уши. Гансик, жвачка и заяц принадлежат к числу любимых моих воспоминаний. Не знаю

точно, к какому времени они относятся, но война уже кончилась, а в школу мы еще не ходили. Отрезок времени между войной и школой был вообще самым счастливым за все мое детство. Потом окна и двери разнесенной бомбами церкви на углу замуровали, и нам уже нельзя было поиграть с мертвыми кроликами, которые на самом деле являлись отравленными крысами, что нисколько нас не смутило, когда мы об этом узнали. Мы пеленали их в тряпки и играли в дочки-матери: Гансик — папа, я — мама, крыса — младенчик. Летом было полно пыли, мелкой известковой пыли, она поднималась в воздух возле рухнувших зданий. Такое пыльное лето мне довелось пережить еще только один раз, причем в Нью-Йорке. К вечеру раскаленного, знойного дня, выйдя из метро где-то в южной части Манхеттена, я в ту же секунду оказалась в атмосфере, знакомой до боли. Запах пыли, разлетающиеся обрывки бумаги, нарушенное соотношение между людьми и предметами, мельтешение и вялость одновременно, и раскаленная эта пыль, и это суетливое успокоение после. Я решила, что вот тут, на этой улице, состоялась некая битва с победоносным исходом, и я очень кстати попала туда, и отлично во всем разберусь, если только

меня допустят к разборке. Точно как из бомбоубежища, вышла я теперь из сабвея в душный хаос города, пытавшегося выжить, и дитя — то дитя, в былое существование которого мне часто не верилось, — немедленно опознало данное мгновенье. В Нью-Йорк я отправилась незадолго до той осенней ночи, когда Франц от меня ушел и не вернулся. Наверное, я еще тем летом знала, что остаток жизни проведу в собственной квартире, вспоминая о Франце, и решила прежде посмотреть на Нью-Йорк.

Сначала замуровали окна и двери в церкви, а потом стали возвращаться отцы. Первым вернулся отец Гансика. В голове у него засел осколок гранаты, и Гансик предупредил, что теперь мне к нему нельзя: отцу нужен покой.

Гранатные осколки принадлежали к наиболее загадочным последствиям войны. Застряв где-то в теле у мужчин, они, подобно мелким врагам, жили собственной жизнью, вели себя тихо, причиняли боль или — самое худшее — начинали передвигаться. А уж если осколок гранаты отправляется в путь, то непременно в сторону сердца, как рассказывал мне Гансик или кто-то еще. Тогда весь мир только и говорил про гранатные осколки. Казалось, тогда по Германии ходили

миллионы мужчин, на вид целых и невредимых, но не способных радоваться жизни, потому что по их частям тела или в голове блуждал вот такой остаток войны. Гансиков отец почти всегда был в плохом настроении.

Мой отец тоже вернулся, точнее — вернулся человек, о котором мать говорила, дескать, он и есть мой отец. Мы оба ей не верили, и он не верил, и я. У нас были разные основания ей не верить, причем о его мнении мне ничего не известно, а я просто и думать не могла, что это мой отец: мне все в нем не нравилось.

Со временем так оно и осталось, хотя причины моего неудовольствия изменились и за истекшие годы наложились одна на другую, поэтому теперь я и не скажу, которая из них пробудила мою уверенность в том, что я не могу происходить от этого человека. Не помню, с самого ли начала мне не нравился его голос с вечной примесью раздражения и неудовольствия, проступавшей даже в тех редких случаях, когда он хвалил приготовленную еду. Сам его голос портил любые слова. Говоря, что «суп вкусный», он на самом деле хотел сказать: «Ну вот, раз в жизни вкусный суп». Такой же у него был и взгляд. Казалось, он постоянно видит перед собой неприятный сюрприз. Навер-

ное, он бы скорее поверил, что исчезновение раздражающей его картины — это оптический обман. Даже когда он смотрел вроде бы на что-то приятное, в глазах у него светилась уверенность, что жизнь в кратчайшие сроки возьмет свое и даже эта радость продолжительной быть не может. При этом гранатных осколков не было у него ни в голове, ни вообще где-либо. Как правило, он сидел за столом на кухне и читал газету. А если пил кофе или ел суп, то чавкал так громко, будто хотел доказать и матери, и мне, что он вправе громко чавкать. Не помню, чтобы мать хоть раз ему сказала: «Не надо чавкать так громко». Это наоборот, он нам запретил разговаривать во время еды, так что за столом только и слышалось его чавканье. До сих пор не верится, что он мой отец. Пусть бы лучше им был брачный аферист, очковтиратель, проезжий точильщик ножей, наемный партнер для танцев, балаганный шут — но только не он.

Может, оно и было бы по-другому, может, неотесанный дядька, каким он являлся, пришелся бы мне по сердцу, несмотря на все, если бы только его хоть чуточку интересовало, нравится он мне или нет. Но его это не интересовало вовсе, и вот уже пятьдесят-шестьдесят, а то и семьдесят-во-

семьдесят лет я ему благодарна. Стоит только представить, что он мог быть хорошим отцом в привычном смысле слова, вроде отца Хинриха Шмидта, моего однокурсника по первым годам учебы, который в возрасте двадцати лет лег под колеса скорого поезда Берлин-Лейпциг из-за позорящей отца заметки в газете, стоит только представить, что совместным катанием на велосипеде и доверительными разговорами тот бы требовал не только признания своего отцовства, но и некоторой доли дочерней любви, и это в свою очередь потребовало бы от меня стараний ему понравиться, читай: подражания ему, — сразу понимаешь, что такой отец в моей жизни стал бы обузой. Но он оставался чистым разочарованием! И с тех пор как Хинрих Шмидт прижался шеей к рельсу близ Шёнефельда, чтобы следующему же поезду удалось отделить его голову от туловища, — а произошло это, я совершенно уверена, только из-за сыновней любви, — я вполне могу быть благодарна собственному отцу за невозможность его любить.

Отец Хинриха Шмидта был важной персоной в местных органах международного освободительного движения и командовал то ли армейской полицией, то ли тайной полицией, — короче,

вооруженным формированием. Несмотря на это, он явно был любящим отцом или же сумел заодно со своим семенем взрастить в сыне такие свойства, какие заставляют расцвести пышным цветом любовь к отцу. Хинриха Шмидта я помню не слишком отчетливо: крупный флегматичный юноша, за пределами сумятицы, вызванной его самоубийством, вовсе мне не интересный. При нем нашли газетную вырезку, где сообщалось, что благодаря утечке информации из самых узких кругов шайки освободителей стало известно: генерал Курт Шмидт потребовал ввести войска в университет с целью размозжить черепа студентам, не проявляющим интереса к изучению общественно-идеологических дисциплин, однако товарищи по партии подвергли эту позицию критике, причем генерал Шмидт отрицает, будто высказывался подобным образом, так как его предложение сводилось к тому, чтобы студентам переломать только кости.

Неизвестно, каким образом Хинрих Шмидт стал обладателем этой вырезки из газеты — зарубежной, хотя и немецкоязычной.

Никто не считал его способным на столь крайний поступок. Но я понимала, что он — осознав происшедшее и, возможно, перепроверив факты

— просто не мог жить дальше. Я понимала даже жестокость избранного им способа самоубийства: не сравнишь с таблетками или отцовским пистолетом у виска или во рту. Понимала, что всему миру и собственному отцу он хотел предъявить чудовищное зрелище — обезглавленного, казненного.

Именно потому, что Хинрих Шмидт любил отца и хотел быть на него похожим, он считал необходимым — если я верно следую логике его чувств — смыть с себя позор, как хотел бы отец и, следовательно, чего сам Хинрих не мог не желать.

Даже поверив, что человек, выданный матерью за моего отца, действительно меня зачал, я бы не стала умирать ни за какие его слова, ни за какие его поступки, хоть бы и самые мерзкие. Не буду утверждать, что навовсе была лишена дочернего сочувствия, но после смерти Хинриха Шмидта я пришла к выводу, что сколь ни было постыдно и смешно стать копией собственной матери, но сыновей, похожих на отца, подстерегает гораздо большая опасность.

Испытанный в детстве страх стать отцом заставляет каждого мужчину то ли задавить в себе самом ребенка, то ли отказаться от отцовской роли. Ведь стань он отцом мягким, терпеливым

— и не избежать ему клейма слабости, так что собственный сын вынужден будет стараться, да просто захочет стать его полной противоположностью.

Не надо было им возвращаться. Надо было им тогда, когда мы с Гансиком Пецке играли в дочки-матери с отравленными крысами, оставить нас наедине с нашими родительницами, и Гансика, и меня, и всех остальных тоже. Надо было им где-нибудь подальше от своих сыновей найти такое место, где лечат израненное тело и опаленную войной душу. Так изувеченные воины Александра Македонского, — я про них однажды читала, — когда тот освободил их из персидского рабства, отказались возвращаться домой, в Грецию, к своим женам. Персы отрубали им руки и ноги, отрезали уши и носы, но один из несчастных, по имени Эвктемон, заклинал остальных: «Давайте мы, обреченные на смерть, найдем на земле место, где обретут покой наши изувеченные тела!». Почти все воины вняли ему и остались на чужбине.

Я и теперь, бывает, представляю себе, какой оказалась бы наша жизнь, если бы тогда они поняли, что для своих детей могут сделать только одно: не навязывать своего присутствия. Самая

большая трудность жизни без них состояла бы в том, что нам не у кого перенять всю совокупность жизненно необходимых знаний. Терпеть стариков, дедов можно ради того, чтобы выучиться у них ремеслам — строить, плотничать, прокладывать трубы. Старым инженерам пришлось бы воспитывать студентов. Или мы двинули бы в соседние страны, освоили необходимое и отправились восвояси. Но самое жизнь мы узнавали бы при наших исхудавших матерях-мешочницах, а не при побежденных вояках с осколками гранат в голове. Мне по-прежнему можно было бы ходить к Гансику, мы с матерью продолжали бы болтать во время еды, а не терпеть тиранническое чавканье, а Хинриху Шмидту удалось бы избежать рокового приговора своего отца-генерала.

Но главное — мы были бы избавлены от непостижимых превращений, происходивших с нашими матерями. Даже не поняв еще, что все изменилось, я заметила: мать по-другому смеется, не так, как раньше, и не так, как я. Раньше смех будто вырывался у нее изнутри, ей даже не всегда удавалось остановиться, прекратить смеяться. И вдруг ее смех зазвучал назойливым колоратурным сопрано, и рот перестал вольно раскрываться во всю ширь, как у детей или у кло-

унов, но образовывал сдержанный овал, и зубки наполовину прикрывались губами. Всю жизнь я презирала эту женскую манеру смеяться. А тогда никак не могла взять в толк, отчего это мать постоянно повторяет, будто ей никак не справиться с простейшими бытовыми делами, хотя мне доподлинно было известно, что это неправда. Даже я наловчилась чинить перегоревшие пробки кусочком фольги или проволоки, но мать делала вид, будто понятия не имеет, как это делается. Взвизгивала, словно до смерти перепугалась, если в квартире вдруг становилось темно. А мы, между прочим, годами жили при затемнении и перебоях с электричеством. Раз я услышала, как она говорит подружке, дескать, надо помогать мужчинам обрести уверенность в себе. Тогда-то я впервые и заявила Гансику Пецке:

— Моя мать — просто дура.

А Гансик ответил:

— И моя тоже.

Какими стали бы наши матери, если б в те времена сберегли свой смех и сознались, что умеют ввинчивать пробки? Но их мечта о счастье корнями уходила в мирное время и смех Марики Рёкк или Сары Леандер, так что, твердя про «женщину, истинную женщину», они и сами верили

в ее существование. Но шанс, данный треклятым этим столетием, они упустили. В их власти было взять да и разорвать цепь, взять — да и разлучить сыновей и отцов, пусть лишь однажды, чтобы увидеть, что будет, если не станет кому подражать. Что будет, если воспитанием сыновей и дочерей займутся матери, которые не бросили свой ум, жизнелюбие и веселость под ноги своим самоутверждающимся мужьям.

Не могу себе представить, чтобы со всеми пустяками, сопутствующими жизни женщины и вроде бы присущими ей от природы, смирились бы столь покорно, если бы могли обойтись без них в борьбе за выживание и потомство. Но наши матери, приняв выживших на войне солдат, включились тем самым в осложненные условия послевоенной конкуренции, когда, иными словами, на одного мужчину приходилось две с половиной женщины, когда шелковые чулки являлись такой же редкостью, что и продукты питания, и демонстрация красивых ног требовала изобретательности и столь же сложной подготовки, что и завоевание мужчины посредством рекламной кулинарной акции. Вероятно, мать так и не решилась запретить отцу чавкать за столом хотя бы по той причине, что военная вдова

Буркхардт со второго этажа откровенно выказывала ему симпатию и однажды даже преподнесла кусок сладкого пирога собственной выпечки.

Без войн мужчины были бы просто людьми, на одной доске с женщинами, однако война высветила определенные качества, приписываемые мужчинам — такие, как бесстрашие перед лицом смерти или рыцарская верность, — а также повысила ценность мужчин вследствие их уничтожения. Вот так и получилось, что за чудовищные деяния женщины стали любить их еще горячее, а те поверили, будто лучшее в них — это и есть воинское достоинство. Иначе как бы могли Гансиков и мой отцы, вернувшись с последней и ужаснейшей из всех войн, а позже генерал Шмидт, смертельно усталые и обагренные кровью — своей и чужой, — как бы все они могли согласиться с тем, что именно им назначено воспитывать следующее поколение. Отлично помню, как мать через несколько лет после подслушанных мною слов о том, что надо помогать мужчинам обрести уверенность в себе, и через несколько дней после того, как мой отец пошел служить в полицию, шептала той же подружке:

— Форма ему особенно идет!..

А мне-то казалось, что в форме он еще менее

похож на человека, который мог бы быть моим отцом.

У меня не было разумных поводов сомневаться в том, что я происхожу от своей матери, хотя представить себе, будто все, взятое мною не у отца, кем бы он там ни являлся, непременно взято от нее, мне было очень неприятно, порой даже мучительно. Конечно, я ее любила, но неохотно.

Я знаю очень немногих людей, которые рады происходить от своих родителей, и еще меньше таких, которые рады бы походить на своих родителей. Наоборот, почти все знакомые мне люди так ужасались естественной опасности стать на них похожими, что жизнь их напоминала слалом, желание обойти унаследованные свойства, и это становилось судьбой. Будь моя мать менее бесстыдна — а уж она-то не считала бесстыдством ту наглость, с какой охотно открывала свою пышную плоть, — приди ей в голову считать бесстыдным то, что она считала естественным, — то и у меня, наверное, была бы первая любовь: может — нет, а может, и да.

Меня тошнило от женского тела, в том числе и от собственного. К счастью, мать не передала мне по наследству ни бледную, с мраморной сеткой голубоватых прожилок, кожу, ни золотистые

свои волосы — эту непристойную женственность пастельных тонов, с пучком посветлее между роскошных бедер. Но наступил срок, и пришлось терпеть свое худое бесполое тело, принимающее генетический материнский завет: оно стало женственным, что, возможно, мне почти или вовсе не мешало, если бы женственным было что угодно, только не моя мать. По-моему, она была сокрушительно женственной.

К своему обнаженному телу с его очевидным предназначением я испытывала отвращение. Завешивала длинными и широкими мужскими свитерами, отказывала ему в пище, чтобы остановить растущую плотскую женственность. Заставляла его при ходьбе двигать только ногами, чтобы однажды, забывшись, не завилять задом, как мать. Лежа рядом с мужчиной и даже желая ему понравиться, я запрещала телу делать то, что с моей точки зрения делают женщины, ей подобные, и что мужчина может счесть попыткой ему понравиться.

Первый, с кем рядом я вот так лежала, был на год меня старше, а мне было семнадцать. Однажды после школы я пошла к нему домой. У стены справа стояла деревянная кровать, прямо против кровати старый шкаф с зеркальными дверцами.

Он утверждал, будто в четырнадцать лет его соблазнила на Балтийском море, в палатке, одна училка и с тех пор он переспал с пятнадцатью, не то с двадцатью женщинами, но ни одна из них не была девственницей. Было больно, и в зеркале я видела свои расставленные ноги в обрамлении кружавчиков нижней юбки. Вроде бы в конце я свалилась куда-то между кроватью и шкафом, и мы оба над этим смеялись, не помню точно. По-моему, его звали Клаус или Петер, или Клаус-Петер, или что-то вроде того.

Какой-то другой день, раньше, я помню хорошо. После школы мы в метро вместе ждали поезда. Станция почти пуста, только в другом конце кто-то льет воду из ведра на платформу, потом подметает. Клаус-Петер одет в зеленую жакетку на молнии, вязанную поперечной полоской, мы такие называли «кимоно», и рукава у Клаус-Петерова зеленого «кимоно» самые широкие, какие я в жизни видела у жакетки такого фасона. Обнял меня здоровенными рукавами и поцеловал. Горячий и потный пар из-под жакетки смешивался с затхлым ветерком, принесенным из туннеля подходящим поездом.

Это был единственный запомнившийся мне поцелуй из эпохи до Франца: первый. А потом —

последний и бесконечный поцелуй с Францем.

Как-то на каникулах Клаус-Петер притащил мне черепаху. Купил или нашел ее в Румынии и будто бы привез мне в подарок. Думаю, мать ему просто запретила держать ее в доме. У меня она зимой сдохла, потому что я разбудила ее от страха — не померла ли, а вот корма не дала. Было это много позже той ночи, которую я провела у него на лестничной площадке. Так и не знаю — может, пока я в рыданиях засыпала на ступеньках у его квартиры, он все-таки вернулся домой и проскользнул мимо, в кровать. Меня разбудил наутро пожилой человек, которому я преграждала путь на работу, и отправил домой. Поинтересовался, есть ли у меня хоть чуточка гордости. А моя мать говорила, мне это не нужно.

— Вовсе тебе это не нужно, — так она говорила, потому что ей это было не нужно. Или все-таки нужно, и вот она надеялась, что хотя бы мне будет не нужно, раз уж у меня, как она утверждала, ноги красивее, чем у нее. А вот мне всегда было нужно все.

— И что, ты и правда просидела всю ночь на лестнице? — спросил Франц.

— Да, — ответила я, и Франц посмотрел на меня так, словно и сам хотел поинтересоваться, есть ли

у меня хоть чуточка гордости и не способна ли я нынче на такую дурость. Возможно, он опасался, что в один прекрасный день я усядусь на лестничной площадке перед его дверью, за которой он с женой как раз доедает бульон с клецками и обо мне вовсе не думает, перед дверью, за которой он исчезает, когда в час ночи является домой, называя это «пойти к себе». Уходил от меня «к себе», где его не было. Тогда, лет сорок-пятьдесят назад, я потратила много времени на попытку разобраться, что же Франц и его жена там вместе делают, за дверью, на которой я знаю каждую царапину. Зная, что Франц с женой идут в театр или приглашены на ужин, вечером в половине седьмого или в семь — когда, я полагала, они должны переодеваться — я садилась в кресло и воображала себе эти приготовления к семейному выходу. Видела, как Франц берет чистую рубашку из шкафа, чистит ботинки, завязывает галстук, как его жена застегивает пуговки шелковой блузки в черно-белую полоску и брызгает себя духами — такими же, какие Франц подарил мне. При нем я никогда ими не пользовалась, поскольку подозрение, будто Франц преподнес мне любимые духи своей жены, чтобы самому не переносить чужой запах или чтобы ночью, положив руку

между ее ног, не чувствовать себя с ней совершенно наедине, — это подозрение никогда меня не оставляло. Видела, как Франц подает жене пальто, а она не может найти ключ от квартиры, ведь он валяется на столе в кухне. Франц держал в руке ключи от машины. «Надо бы поторопиться», — произносил он с легким нетерпением. Потом, наконец, хлопала дверь, и я оставалась одна. Но иногда мне удавалось проскользнуть вслед за ними до самого гаража и понаблюдать за блистательной хореографией семейного выхода: как в подъезде она едва приметно замедляет шаг, чтобы дать ему возможность распахнуть перед ней дверь, как она проходит вперед, а он, придержав дверь костяшками пальцев, следует за нею — естественная, за тысячу раз отработанная синхронность движений; и постоянный стук закрывающихся дверей, то гаражных, то автомобильных.

* * *

Вообще-то я и сегодня не знаю, почему в жизни Франца все могло остаться, как есть, в то время как мою жизнь смыло, словно глиняную хижину ливнем. Даже и попытайся я там-сям укрепить, брезентом или голыми руками, — чего я, впрочем,

не делала — так не спасла бы. Дело, видно, еще и в той эпохе, задевшей лишь меня, а не Франца, ведь он из Ульма. Даже и без Франца в моей жизни немногое осталось бы по-прежнему. В годы правления шайки я вывела для себя некоторые жизненные принципы и создала вокруг некий порядок, который имел смысл лишь как реакция на всевластие абсурда, так сказать — минус, давший плюс лишь в сочетании с другим минусом, и который по окончании странной эпохи стал не просто лишним, но и обременительной помехой.

Одни черепахи чего стоят. И почему это у нас было столько черепах? Кажется, началось с появления ребенка то ли у нашей соседки, то ли у родственницы, когда дочка и от меня потребовала родить ей братика-сестричку, к чему я была вовсе не склонна. Хотела я одного ребенка, вот и родила одного, и его любила. Знала, что единственный ребенок не обеспечит продолжения рода и что мое нежелание размножаться то ли противоестественно, то ли свидетельствует о моей деградации, но самая мысль о возможном существовании внутри меня новых детей порождала протест, граничащий с омерзением, так что однажды, когда доченька опять гневно потребовала беременности, на моей верхней губе

расцвела грандиозная лихорадка.

Потом доченька наконец-то закрыла тему, сообщив, что готова отказаться от братика при условии приобретения ризеншнауцера. Не думаю, что она представляла, как выглядит ризеншнауцер, зато ей понравилось само слово. Рожать ризеншнауцера мне, правда, не предлагалось, но зато предлагалось его кормить, выгуливать, расчесывать и водить к ветеринару, а я не хотела ребенка, и ризеншнауцера не хотела тоже. Сообразив, что и битву за ризеншнауцера ей не выиграть, доченька без лишних вопросов в один прекрасный день притащила домой двух котят, коих, согласно ее утверждениям, могли при всем честном народе утопить непосредственно перед станцией метро «Шёнхаузер-Аллее», если бы среди зевак не нашлось ни одного сердобольного человека.

За год в тесной нашей квартирке поселились не то семь, не то восемь кошек, коим грозила верная смерть в пластмассовом ведре оранжевого цвета, когда бы моя дочь не останавливалась всякий раз у станции метро «Шёнхаузер-Аллее» с целью их спасения. Все это гораздо больше походило не на любовь к животным, а на жажду мести, ведь когда я из страха перед грядущими спасательны-

ми мероприятиями предложила-таки заменить восьмерых кошек на одного-единственного ризеншнауцера, то услышала в ответ, мол, ага, уж если так, то на братика, после чего доченька покинула комнату, на меня и не взглянув.

Время от времени она запиралась у себя со всеми этими кошками и слышно было, как она там что-то шепчет и бормочет, а потом дверь открывалась и все восемь штук выходили оттуда гуськом в полном спокойствии. Так я и не узнала, что там устраивала с кошками доченька, запираясь на ключ. Но кошки ее очень любили, стоило ей позвать — и они тут как тут; оттого и не нашлось повода принимать меры в связи со странными их сборищами, пусть из-за оных мне и было не по себе, хотя потом случалось, что кошки как по команде выскакивали из комнаты и диким галопом мчались по квартире, прыгали на столы, кровати и полки, — впрочем, ни разу не задев ни вазочки, ни стаканчика.

Сие действо длилось минут пять-десять, а затем, по новому тайному знаку, кошки поодиночке или попарно вновь разбредались по своим уголкам, вылизывали шкурку и засыпали. Может, мне только казалось, что в подобные вечера моя доченька выглядела особо уравновешенной и

удовлетворенной, может, это было и не так. Я чувствовала себя виноватой, поскольку лишила собственную дочь братика-сестрички, ведь она, разумеется, лишь одну меня призывала к ответу за свершившуюся несправедливость, хотя я-то знала точно, что моего мужа мысль о втором ребенке приводила в такой же ужас. Но в конце концов, это я могла родить, не он, и тем самым вина полностью лежала на мне, обязывая закрывать глаза как на кошачьи дебоши, так и улыбочку моей доченьки, обращенную лишь к кошкам и к себе самой.

Так мы прожили несколько лет, пока мой муж, давным-давно страдавший хроническим насморком, однажды не выложил на стол справку об аллергии на шерсть животных, способной, по словам мужа и по мнению врача, в течение короткого времени перейти в астму и далее завершиться летальным исходом, конечно, в случае, если пациент по-прежнему будет находиться в контакте с животными, покрытыми шерстью. Доченька — в обеих руках по кошке — сидела на стуле, поджав ноги и не глядя ни на отца, ни на меня. Муж заявил, что не видит иной возможности, нежели поиски для себя другой квартиры, где в дальнейшем он будет проживать отдельно,

причем доченька разразилась слезами. Часто я себя спрашивала, что бы произошло, если бы я — в ее глазах, собственно, во всем и виновная — поставила доченьку перед данной альтернативой. За несколько недель мы раздали всех кошек друзьям и знакомым, заменив восемью черепахами, в итоге предпочтенными доченькой из всех безшерстных зверей.

Никто из нас не любил черепах. Молча и неуклюже ползали они из одного угла в другой, тщетно сопя, уверенные, что захвачены невидимым врагом, когда их панцирь застревал между стеной и ножкой дивана. Доченька регулярно обеспечивала их свежими зелеными листьями и со скучающим видом наблюдала, как они безуспешно пытаются преодолеть возведенное ею препятствие, но никогда не касалась этих холодных и твердых, ничуточки не напоминающих кошек, зверюшек. Но только случись моему мужу или мне самой осторожно усомниться в необходимости их присутствия в семье, как она сажала какую-нибудь черепаху на колени и кончиками пальцев начинала нежно поглаживать ее панцирь. Лично я живое присутствие восьми черепах в квартире ежедневно ощущала как кощунственный вызов: в то время как я каждое

утро задирала голову ради приветствия погибшему в ходе мировой истории чудесному динозавру, восемь его жалких, но выживших родственничков оставляли фекалии на моем ковре. Не знаю, отчего никто из нас не решился покончить с черепашьей тиранией, не сунул их в мешок, не отнес в ближайший зоомагазин или парк, а по мне — так и на помойку. И совсем уж не могу понять, отчего мы продолжали держать черепах, когда доченька уже уехала в свою Австралию или Канаду. Видимо, мы настолько свыклись со своим отвращением к ним, что без оного и представить не могли нашей жизни. Утро, когда мы с проклятиями вдруг не споткнулись бы о черепаху, показалось бы нам, верно, совсем пустым и бессмысленным. Вот так оно было до моей встречи с Францем. Вскоре после нее черепахи пропали неведомо куда — забыла я, что ли, их покормить и они передохли? Или муж, незаметно исчезая из моей жизни, прихватил их с собой. Правда, и без всякого Франца мы бы их держать уже не стали, ведь я наконец-то собралась в Саут-Хадли, штат Массачусетс, чтобы в саду Плиния Моуди осмотреть знаменитые следы птичьих лапок, а мой муж отправлялся в Помпеи.

* * *

Правда состоит в том, что в Саут-Хадли я так и не побывала. Поехала — и не доехала. Летом, накануне той осени, когда Франц однажды ночью покинул мою квартиру и не вернулся, я купила авиабилет до Нью-Йорка с тем, чтобы далее лететь в Холиок, штат Массачусетс, а оттуда автобусом или железной дорогой, если таковая имеется, добираться до Саут-Хадли. Однако в пути, наверное, в Нью-Йорке, но скорее еще в самолете, преодолевая часовые пояса над Атлантическим океаном, я осознала, что следы птичьих лапок в саду Плиния Моуди мне давным-давно неинтересны. А ведь в последние годы странной эпохи ни о чем я так не мечтала, как о садах Плиния Моуди; с одной стороны, из-за самого имени Плиния Моуди, с другой — из-за сада, то есть сада Плиния Моуди, где я прогуливалась во все времена года, то разгребая снег над следами птичьих лапок, то освобождая их от густых побегов плюща. Сад Плиния Моуди — одичавший райский уголок земли — был таинственно тих, светел и все же тенист, и ласковый ветерок смягчал тамошнюю жару. Как-то раз я с удивлением услышала, что песенку «У входа в город липа,

под ней бежит ручей» начинаю такими словами: «В саду у Моуди липа, под ней бежит ручей». В эпоху правления шайки, когда все мы мечтали о далеких странах и землях, как в тюрьме мечтают о вкусной еде, я на вечный вопрос, что на этой земле хотела бы увидеть, свершись невозможное, отвечала: «Сад Плиния Моуди», — в твердой уверенности, что села бы в первый же самолет и улетела в Саут-Хадли, штат Массачусетс.

Но не сделала этого. Некуда торопиться. Место, именуемое мною садом Плиния Моуди, перестало мне принадлежать. Превратилось в цель, доступную каждому, а может, в пункт маршрута туристических фирм всего мира, на автобусах с кондиционером и биотуалетом, транспортирующих толпы полуголых туристов в Саут-Хадли, где те фотографируют следы птичьих лапок, давно обнесенные оградой, пьют «колу» и закусывают сосисками, а потом их опять втягивает в себя автобус и везет к ближайшему водопаду или брошенной индейской деревушке. Я опасалась, что сад Плиния Моуди не сумеет оправдать моей тоски по нему или, хуже того, ее уничтожит. Все еще намеревалась выбраться туда при первой же возможности, а сама радовалась любому препятствию. То денег не было, то времени, то я

чувствовала себя нездоровой. А потом встретила Франца.

Я спросила Франца, есть ли место на земле, по которому он тоскует.

— Не знаю, — ответил Франц, — может, и есть.

И еще сказал, будто мечтает отправиться в путешествие по муравейнику.

Для Франца, специалиста по перепончатокрылым, это желание вполне очевидно, хоть оно и доказывает, что ностальгическая тоска, исчерпав все возможности, начинает распространяться на невозможное. Не думаю, правда, что уже тогда знала об этом: я это поняла, когда Франц ушел.

В распоряжении Франца — не то что у меня, — имелись бесчисленные живые экземпляры исследуемых им видов. К любому муравьиному племени, о каком только становилось известно, он мог ездить хоть всю жизнь. Оснащенный специальными микроскопами и камерами, он мог наблюдать за становлением и гибелью сотен, нет, тысяч народностей и поколений, будто для них являлся богом. Он устраивал им вселенские потопы и землетрясения, ледниковые периоды и засуху, наслаждаясь их неистребимой волей к выживанию. Он отдавал их троны чужим королевам, спровоцировав тем самым революцию. Он

целые народы лишил потомства, чтобы узнать, выживут ли они при таком условии. И всего этого ему было мало. Он хотел невозможного: стать таким же маленьким, как они, хотел фасеточными их глазами всматриваться в темноту подземных ходов, в самого себя и в нечто непостижимое, пугающее. На один-два дня он хотел бы стать теми, о которых знал все, кроме самого главного: кроме закона, заставляющего их делать то, что они делают.

* * *

Год, когда умер Эмиль, был годом Свободы, по крайней мере позже принято было так его именовать в газетах и официальных выступлениях. Да и те, кто в частных разговорах не стыдился патетики, поминали порой год Свободы; и если то, что подобно ветру отделяет — легкое от тяжелого, шаткое от прочного и зыбкое от укорененного, — если это и есть свобода, значит, и год был ее. Тогда казалось, ничто не останется, как есть. Появились новые деньги, новые паспорта, новые власти, новые законы, новые формы у полицейских, новые марки у почты, новые владельцы, то есть по сути старые владельцы, которых лет на тридцать-сорок отстранили от

владений; переименовывались улицы и города, сносились памятники и образовывались новые военные союзы государств.

Мне всего этого было мало. Я мечтала о чем-то сокрушительном, куда само собой вольются все почтовые марки, названия улиц и униформы, мечтала о прорыве в иное измерение: то ли о трагической перемене климата, то ли о потопе и иной катастрофе — короче, о том, что сильнее человека и его переменчивых устремлений. Ясное дело, ничего не произошло. Утром я выходила на улицу, чтобы ехать в музей, и у людей оказывался тот же цвет кожи, и говорили они на том же языке, и погода соответствовала сезону, а трамвай пусть и ходил под другим номером, но по тому же маршруту; позже хотя бы это изменилось, когда во всем городе вспороли покров и начали по последнему слову техники опутывать его проводами и канализационными трубами, когда целые районы оказались отрезаны от окружающего мира, поскольку туда забыли проложить подъездные пути.

Припоминаю тем не менее, что тогда моей жажды крушений почти никто не разделял. Люди в основном боязливо копошились в своем, привычном, не захваченном вселенскими

переменами и не подлежащем роспуску или переименованию за одну ночь. Супружеские пары, которые, я подозревала, давно уже и словами-то обменивались лишь по бытовой необходимости, тут вдруг за ручку отправлялись осматривать городские новшества, и в глазах их вместо вялой насмешливости из прошлого года светилась благодарная тайна заговорщиков. Разводы, давно уже заявленные, в массовом порядке отменялись. Каждый вслепую шарил вокруг себя, крепко держась за то, что называл своим собственным, пусть таковое ранее было отвергнуто и, кто знает, в новых обстоятельствах могло и в самом деле оказаться бесполезным.

Карин и Клауса я знала со школьных времен: вот то самое, чего у меня не было, — первая любовь. Спроси меня кто-нибудь, что такое первая любовь, я бы ответила: Карин и Клаус. Первая любовь — это не просто любовь, какую человек испытывает в юности. Эта любовь несравненна, поскольку тот, кого она посетила, ничего еще не пережил такого, чем мог бы ее измерить. Эта любовь является исключительно по собственной воле. И не должна преодолевать разочарований, превосходить прежнее счастье, не должна ничего опровергать, исправлять, заменять. Карин и

Клаус созданы друг для друга — это все мы знали еще до того, как те на перемене стали в обнимку прислоняться к ограде школьного двора, иногда сами по себе, но чаще окруженные соучениками, ведь те были исполнены к ним уважения за непостижимый и всех ожидающий переворот, который Карин и Клаус уже совершили, за их танец красивых бабочек в пыльной дымке школьного двора, пока мы в своих коконах трусливо размышляли, в кого однажды превратимся. Глядя на Карин и Клауса, невозможно было не думать о том, какими они станут в тридцать или сорок, как назовут своих детей и как обставят квартиру.

Детей они назвали Катарина и Клаудиус. Как я заметила, многие люди полагают, что длина имени придает ему исключительность и благородство, эдакую сдержанную светскость. Короче говоря, своих детей Карин и Клаус назвали Катарина и Клаудиус, что лично я понимала как банальную мечту о том, чтобы дети жили лучше нас, ради осуществления которой родители спускаются с гор в долины, переселяются из деревни в город и оттуда, если угодно — в Америку.

Надо полагать, Карин и Клаус давно уже умерли, возможно, умерли и их дети. Мне это

безразлично, ведь на моей жизни не отразилось, умерли они или нет. Будь они и живы, я никогда их не встречу, а встречу — так не узнаю, хотя бы из-за испортившегося зрения. Но даже и человек с отличным зрением не разглядел бы в этой паре тех, кем были они все четыре старших класса. Карин и Клаус — это были Адам и Ева, Ромео и Джульетта, Фердинанд и Луиза, Филемон и Бавкида — любовники на жизнь и на смерть.

Я восхищалась ими обоими, но не без подозрительности и даже с неприязнью. Поэтому банка салата с майонезом, которую Карин достала из аккуратно собранной корзинки для пикника и выставила на кухонное полотенце, расстеленное на траве, вызвала бы у меня высокомерное чувство облегчения. От последней нашей поездки всем классом на пароходике из Трептова в Кенигс-Вустерхаузен ничего у меня в памяти не осталось, кроме продолговатой корзинки, покрытой клетчатым полотенцем, с узелками по обеим сторонам ручки, — корзинки, которую Клаус, втайне сопротивляясь, как я тогда подумала, тащил от причала к поляне. Карин и Клаус раскинули свой лагерь в стороне от остальных, но не так далеко, чтобы я упустила из вида настырную заботу, с какой Карин устраивала полотенце

на траве вроде как стол для домашнего обеда: приборы, стаканы, чай с лимоном, яйца вкрутую, солонка, котлетки, маленькая банка яблочного мусса и большая банка салата с майонезом. Карин и Клаус сидели друг против друга и жевали. Возможно, вся эта сцена задумывалась не такой серьезной, как казалась. Карин и Клаус играли, как мы все играли лет десять назад, в дочки-матери. И все равно тогда я их для себя потеряла. Заглянула в их будущее и поняла, что они вовсе не влюбленная пара на жизнь и на смерть, а супружеская пара на жизнь.

Оба стали инженерами, то ли инженерами-строителями, то ли станкостроителями, — забыла я, а то и не знала никогда. Потом построили дом, длинный и низкий, и как только накопят еще немного или ребенок у них родится, так сразу что-то к дому пристраивают. После появления на свет Катарины сад сократился до узкой полоски газона между задней стеной дома и сеткой забора. Гараж закрыл проем между боковой стеной и живой изгородью соседнего участка.

Гуляя по воскресеньям на Шенхольцер-Хайде, я иногда сворачивала в ту улицу, где они жили. О присутствии Клауса можно было догадаться только по исходящему от него шуму — стуку молотка,

визгу пилы, а в это время Карин, наряженная в бикини и в синие резиновые сапоги, нагружала тачку садовыми отходами или толкала ее к куче компоста. Позже она сменила бикини на глухой цельный купальник, а в последние годы накидывала поверх него еще и заношенную Клаусову рубашку.

«Все у нас получается!» — любила повторять Карин.

И дети, и дом, а Клаус уже заведует отделом, а сама она работает не больше шести часов в неделю, хотя работу свою очень-очень любит, только ведь и домашние дела кто-то должен делать, а вечером оба хотят отдохнуть. Боясь сглазить счастье своим хвастовством, она стучала по дереву, но ни разу не забыла предъявить мне коллекцию мясистых цветущих кактусов, вот уж легкую руку, на цветы она, мол, унаследовала от матери.

И сегодня у меня в ушах звучит ликующий голос Карин, когда та любому позвонившему выкрикивает в трубку свою фамилию — три, четыре, пять раз в день бодрое: «Людериц!» — словно три этих слога есть триумфальное и нескрываемое от мира завершение предшествующей фразы, смысл которой сводится к тому, что трубку взяла счастливейшая женщина — Людериц.

Каждый год ее ненарушимого супружества, каждое распавшееся супружество у соседей — все сглаживало первоначальные неровности в голосе Карин, но если в первые годы ее победоносный возглас еще был исполнен подлинного счастья, то со временем к нему подметался возбужденный оттенок удовлетворенности, словно для Карин счастье состояло теперь в отмене необходимости его доказывать. А в конце странной эпохи я позвонила Карин с вопросом, где бы мне достать новую ванну. «Людериц», — голос прозвучал треснутым стеклом, без всякого откровения, как-то бесцветно. Как почти тридцать лет она использовала фамилию Людериц в качестве боевого клича о счастье, так теперь та служила ей для сообщения о несчастье: трубку взяла несчастная женщина, Людериц. Сочувствовать я не могла. Случись что-то с ее детьми, заболей она сама смертельной болезнью, — тут бы я ей посочувствовала. Но Клаус полюбил другую, понятно, та моложе, но уж не настолько моложе, и это совсем плохо, а Клаус заговорил о разводе и собирается куда-то поехать с той, новой, — все это я слушала невозмутимо, нет, куда там: безжалостно. Желала ей боли и ран, и даже банальность ее несчастья находила справедливой, но одновременно ее — вот

такую, с разрушенной ее цельностью — впервые причислила к себе подобным. Она исхудала до каких-то почти детских размеров и, если смотреть издалека, иногда вдруг напоминала влюбленную девочку посреди школьного двора, пусть даже смятение в ее глазах теперь было вызвано мукой, настигшей ее внезапно и для нее самой состоявшей неведомо из чего.

— Поверь, — сказала она мне, — если бы он умер, мне бы и то было легче.

Вот именно: не привыкла, чтобы ее бросали. Кроме Клауса, она мужчин не знала. Я-то легче с этим справилась бы, она же помнит всю историю с Клаусом-Петером, а потом еще одну, я-то на такие удары натренирована, а вот она, Карин, не рассчитана на несчастье.

Позже, когда Франц мне заявил, что бросить жену не сможет, поскольку та не готова быть несчастной, со мной случилась истерика. А Карин я тогда посоветовала:

— Знаешь, ты пережди немного, — мысленно посылая ее ко всем чертям.

Через полгода по окончании странной эпохи и через несколько недель после встречи с Францем я снова увидела Карин и Клауса. Рука об руку стояли они у витрины «Визерхаверн» на углу

Кюрфюрстендам и Кнезебекштрассе. Секунду я размышляла, что пересилит — любопытство или неловкость, ожидавшая меня, обратись я к ним.

— Нет, «Ямаха» выглядит намного лучше, — услышала я голос Карин, проходя мимо.

Они снова стояли в обнимку, как тогда на школьном дворе, и даже если Клаус вернулся только из-за того, что молодую его подругу новая эпоха унесла к иным берегам, он не признался бы в этом Карин, а тем более мне. Вместо того они, должно быть, плели друг другу, что, мол, крах шайки освободителей уже потому благословен, что привел их обоих, Карин и Клауса, туда, где их место — в сложенный ими по кирпичику дом и в сад, где они хотели бы рядом обрести последний приют, когда бы это не запрещалось. Ну так ведь и мне Порой верилось, что Берлинскую стену только ради того и снесли, чтобы однажды утром я, у ног брахиозавра, смогла увидеть Франца.

Думаю, у Карин и Клауса дела до самого конца шли отлично. Эпоха — новая, совсем не странная, жаждущая реального подхода эпоха — приняла их. Я им никогда больше не звонила, а потому и не знаю, какое содержание Карин впоследствии вкладывала в свое «Людериц». Голос у нее звонкий, и звучал он, наверное, не хуже фанфар.

Неожиданную смену эпох каждый понял тогда как сигнал, которого втайне ждал. Одни отдались созерцанию, другие ценой катастрофического слома обрели второе дыхание, — зависело это в первую очередь от характера и особенностей снедавшей их тайной тоски, от того, сохли ли они, заброшенные, в полузабытьи, или сидели на хорошем питании в тихом уголке, охваченные жаждой свободы.

А я встретила Франца.

Мы с Францем сидим среди хищных растений. Франц перебирает струны гитары — то ли сам ее принес, то ли дочка забыла тогда, уезжая.

— Как все это было давно, — выговаривает Франц.

— Да, — подтверждаю я, — как все это было давно.

Мы были еще не стары, когда встретились, по крайней мере, я Франца старым не считала и он меня тоже. Однако и молодыми нас уже было не назвать, в чем и преимущество: нам есть что рассказать друг другу.

— Не помнишь, из чего тогда ботинки делали, после войны? — спрашивал Франц.

— Из винила.

— Верно, винил. Тогда говорили — игелит, —

подтверждает он.

И я за ним повторяю:

— Игелит, игелит! А сушеные очистки от картошки ты тоже ел?

— Конечно! — заверяет меня Франц. — Причем по возможности красные, они слаще белых.

Нет, Франц не говорит: «конечно». Про что я говорю: «конечно», про то Франц говорит: «понятное дело», я ведь из Берлина, а он из Ульма.

Именно поэтому после войны солдаты оккупационной армии ему давали шоколадки и жевательную резинку, а мне ничего не давали, ведь Францевы солдаты — американцы, а мои — русские, у них самих ничего не было.

Затем я задаю Францу вопрос, вызывающий у мужчин моего поколения, если они вынуждены ответить на него утвердительно, — а так обычно и бывает — натужный смешок, а именно: вопрос о лифчике, который, раз уж слово названо, всегда описывается в деталях как предмет одежды, застегивающийся на груди, спереди, или сзади, снабженный резинками для чулок и назначенный как девочкам, так и мальчикам, но для мальчиков особенно унизительный. Не забыть мне Гансиковой кожи на ляжках, со вмятинами от застежек, между коротенькими штанинами

и коричневыми хлопчатобумажными чулками в резинку, с белыми бельевыми пуговицами для этих самых застежек по краю. Позже Гансику разрешили носить длинные брюки, а мне соорудили атласный, тоскливый, к тому же неудобный предмет дамского белья — так называемый пояс или грацию, причем совершенно было непонятно, способствует ли он грации сам по себе или лишь вкупе с чулками.

Разглядывая свою ногу с развратной розовой резинкой чулка, я часто думала про Гансиковы невинные мальчишеские ляжки и мой ненавистный лифчик, стягивать которым грудь, уже обозначившуюся, мне теперь не велели. Вместо него мать подарила мне бюстгальтер, опять-таки атласный, розового цвета, и тот хоть и оказался до смешного мал, но грудью моей был далеко не заполнен. И все равно мать настояла, чтобы я его носила.

Вот так, наверное, я и вступила во взрослую женскую жизнь.

Франц признался, что и он по крайней мере одну зиму носил лифчик. Правда, его мать, большая почитательница мужественности, — по мнению Франца, она до самой старости сожалела, что родилась женщиной — не стала подвергать един-

ственного сына такому позору дольше, чем того требовала крайняя необходимость.

Обеих своих дочерей она тоже обрядила в розовые или белые пояса для чулок и бюстгальтеры, так на лошадей надевают сбрую. Францу позволили стать студентом, сестер Аннемари и Эрику определили в торговое училище и в лучшую ульмскую школу танцев, где Аннемари, младшая, познакомилась с неким выпускником гимназии из порядочной семьи, спустя полтора года с ним обручилась, а спустя еще четыре года обвенчалась. Эрику отправили в школу верховой езды. После безуспешно прошедшего полугодия мать решилась выделить денег и для теннисного клуба, что впоследствии оказалось напрасной тратой, так как очень скоро Эрика нашла подходящего кандидата все-таки в конной школе — инженера пятнадцатью годами ее старше, преодолевшего сомнения из-за разницы в возрасте и уже через три месяца близкого знакомства попросившего Эрикиной руки.

— Да уж, пятидесятые годы, — замечает Франц. — Но браки не распадались.

— А с каких пор вообще существуют чулки? — спрашиваю я.

Франц перебирает струны, изучая свои худые,

бледные и длинные ноги, вытянутые на черной простыне, и напевая:

— «А на стене висит уздечка…» Чулки? Не знаю, у Хейдрун не было. «Спроси меня, зачем грущу я…»

Франц поет так красиво, что я начинаю тихонько, почти неслышно подпевать.

И не спрашиваю, кто такая Хейдрун, но думаю: это первая любовь Франца, темноволосая девушка на той фотографии, что он мне однажды показывал, а если не та, значит, другая, которую он очень хорошо помнит, вплоть до застежек для чулка, как я помню застежки Гансика Пецке.

Франц знал много песен, некоторые знала и я — например, про диких лебедей, взмывших ввысь и пропавших навеки. Или песню, где девушка зовет своего возлюбленного: «Мой милый, ты жив ли?» — потому что сад, о каком она мечтала, оказался кладбищем, а цветочная клумба — могилой. Эти песни я выучила в школе, чему Франц очень удивлялся. Не мог себе представить, что наша странная эпоха была продолжением другой, прежней эпохи.

А ведь возле походного костра, надо думать, у них происходило все то же, что у нас, только песни пелись разные. Мы пели «Испанское небо

раскинуло звезды над нами» и «Катюшу», а Франц с друзьями по походам обращались многоголосым хором к долине Циллерталь и эдельвейсу: «Циллергаль, ты мне отрада» и «Нет в горах цветка красивей эдельвейса».

Но вот «Мы помчимся по волнам, по волнам», и «Энхен из Тарау», и «Настоящая дружба» — это пели мы все, и я, в отличие от Франца, это знала.

— Вот только духовные гимны, их-то ты не знаешь, — говорит Франц.

Самое удивительное во Франце то, что он никого мне не напоминает. А если мне никогда прежде не встречался мужчина, сравнимый с Францем, и если все же мне Франц близок, как никакой другой мужчина, знакомый и дольше, и лучше, — это только то и означает, что еще до встречи с Францем я создала в уме его образ. Не образ Франца — специалиста из Ульма по перепончатокрылым, но образ того, кому должно, назначено было однажды явиться конечным смыслом всей моей вопиющей тоски, ведь иначе все надежды оказались бы злым обманом природы, райской фата-морганой на пути к гибели от жажды.

Признав, что не учила духовные гимны, я предлагаю взамен спеть ему по-русски гимн Сталину.

Франц смеется. То ли не верит, что могу по-русски спеть гимн Сталину, то ли считает смешным, что я это могу. Встав в постели на колени, запахиваю поплотнее халат и пою так старательно, как тогда, лет одиннадцати-двенадцати, научилась петь в школе:

О Сталине мудром,
родном и любимом,
прекрасную песню
поет весь народ.

Неправильно я, наверное, сделала, спев Францу этот гимн, и уж точно — спев так, как я спела: ложная вера и предательство — вдвойне ужасно. Еще пока я выводила слова, мне показалось: внутри Франца, хоть он и развлекался, что-то вспыхнуло такое… назвать это презрением было бы сильно, а отчуждением — слабовато.

Возможно, он ожидал, что я застыжусь своей ложной веры, а уж если не застыдилась, то и насмехаться над собой не стану. Возможно, он подумал, что если кто-то готов предать свою прежнюю, пусть бы и ложную, веру, то он и все остальное способен предать, и что для такого человека, словами моей матери, нет ничего святого. Франц тоже не верил в Бога, о котором пел,

но зато и не насмехался. Повезло ему — сразу научили правильным песням. Может, теперь, спустя тридцать или сорок лет, ни один ребенок, даже русский ребенок, не знает гимна Сталину, но духовные-то гимны дети учат до сих пор. Однажды Франц — под покровом ночи я почти его не видела и только слышала голос — тихо пропел: «И, руку взяв мою, вперед меня веди, и до благой кончины покой мне ниспошли», — и я решила, будто он обращается лично ко мне.

Спев для Франца гимн Сталину, я в тот вечер быстро позабыла о подозрении, казалось, зародившемся у него и прочитанном мною в маленьких серо-голубых глазах. Лишь позже, когда Франц исчез и я стала воспроизводить для себя каждую фразу, каждый взгляд, каждый жест, пытаясь отыскать в них первый сигнал предательства, — мне вспомнилась мелкая эта неловкость, причем я и поныне не знаю — во мне ли дело, не показалось ли мне тогда, что Франц меня в чем-то заподозрил из-за собственной моей неуверенности; не была ли моя бравада лишь достойной попыткой скрыть пустоту, оставленную в душе моим безвинным грандиозным заблуждением.

Годы прошли с тех пор, и мне все труднее хра-

нить в памяти те первые воспоминания. Порой я опасаюсь их и вовсе утратить. Воспоминания: так инородное тело внутри раковины сначала докучливо вторгается в плоть моллюска, потом, под защитой эпителия, обрастает перламутровыми слоями, пока не превратится в переливчатый шарик с гладкой поверхностью; по сути дела — болезнь, возведенная людьми в перл создания. Уверена я только в том, что Франц в тот вечер ко мне приходил, что я, стоя в постели на коленях, пропела для него гимн Сталину, а он через некоторое время, осенней ночью, когда прекратился дождь, покинул мою квартиру и не вернулся. Связь между этими двумя событиями может быть как реальной, так и результатом моих постоянных попыток осмыслить прошлое.

В тот вечер я попросила Франца еще раз спеть мне песню про охотника Иеннервейна. Из всех песен, какие знал Франц, эту я особенно любила слушать, и, по-моему, ему нравилось ее петь. История кровавого злодеяния тут столь же печальна, сколь забавны слова и рифмы. Франц исполнял эту песню с мужественным, сдержанным негодованием, как ее, верно, пели сами сочинители, сопровождая в последний путь коварно преданного Йозефа или Алоиса Йеннер-

вейна. Слова со всей их гордой безыскусностью я помню до сих пор:

Он был герой! в расцвете сил могучих
Рукой убийцы стерт с лица земли,
И тело хладное у озера на круче
В девятый день охотники нашли.
С утеса кровь по капельке стекала,
Когда ничком он на утес упал:
Его настигло сзади смерти жало,
Разбитый подбородок задрожал.
Стрелок трусливый, помни с этих пор:
Твой выстрел — не победа, а позор.

Хотя Франц нимало не походил на баварских горцев девятнадцатого века, я все же улавливала некое родство между ним и этой песней. Франц, казалось, нравился сам себе в архаичном мужском образе, в который входил он на время пения, и мне это нравилось тоже.

И я, и Франц считали, что мы с ним — чудо. Возможно, все любящие пары считают, что они — чудо, ну так и мы с ними. Конечно, никакого чуда нет в том, что мы знали одни и те же и разные песни, хотя ночное наше пение оказывалось чудесным способом рассказывать друг другу о

себе. Однако подлинным чудом были наши тела, знавшие о нас, кажется, все с той минуты, как Франц впервые погладил меня по щеке тыльной стороной пальцев. Пусть я и не могу сказать точно, кем мы, собственно, являемся вне наших тел, но утверждение, будто в данном случае они действовали по своей воле — наверняка правильно. Они скучали друг по другу, словно их всю жизнь насильственно разъединяли, а когда им удалось наконец вновь слиться воедино, их охватило усталое блаженство, как будто они наконец-то, наконец-то достигли цели, как будто их назначением было искать друг друга, как будто об опасности не выполнить этого назначения они ведали всегда. В нашем возрасте не стоило утверждать, что оба наших тела в слепой жажде следовали призыву природы о сохранении вида. Нет, скорее мысль о конце и страх перед возможностью невосполнимой потери помогали бездумно восторжествовать всему, что было в нас молодого. Любит в нас что-то такое, что молодо, что неопытно. В зрелости, чтобы спастись от отчаяния, мы отыскиваем для себя разные чувства, которые — пусть с моей страстью к Францу они не имеют ничего, ну ничего общего — тоже называем любовью: к животным, к детям, к природе,

к работе и к Богу, к людям, музыке, искусству в целом и так далее.

Опытный человек любит то, что у него не отнимется. Купит собаку — и любит. Та подохнет — купит новую и опять любит. А я поступила еще проще: пока не встретила Франца, любила вечного брахиозавра.

* * *

Мы с Францем не лежим среди хищных растений. Мы сидим друг против друга за узким столиком у окна, между нами натюрморт, коего составляющие закуплены мною к приходу Франца в лавке деликатесов: ветчина, печеночный паштет, дыня, виноград, сыр. Я никогда не готовлю специально для Франца, считая, что готовить для любовника — полное неприличие. Отчего я считаю приличным ходить за покупками и накрывать на стол — сама не знаю, но разницу ощущаю весьма отчетливо. Франц — он входит в состав комиссии, призванной решать вопрос о дальнейшей судьбе музея, — рассказывает, что о нашем и, следовательно, о личном моем будущем волноваться не стоит, поскольку музей, вероятно, всего лишь передадут в другое ведомство. Сейчас мне кажется, что тогда я вообще всерьез не пони-

мала опасности, грозившей музею, брахиозавру и мне самой. Только разговор с Францем, эти его слова и воспоминание, что он тогда мне пытался нечто сказать наперед, — только это и отыскивается в моей памяти, словно она — древняя порода, где там и сям сохранились отпечатки, подобные следам птичьих лапок в саду Плиния Моуди.

Франц хвалит сыр, но я не признаюсь, что всегда покупаю одни и те же три сорта, поскольку выучила пока лишь их названия.

— Теперь у нас не только одинаковые песни, но и одинаковые сыры, — замечаю я. А Франц на это сообщает, что вырос в очень скромных условиях и сам обеспечивал себя в годы учебы. Продавцом мороженого, сантехником, грузчиком мебели, истопником, почтальоном на телеграфе он уже побывал в жизни. Пока остальные ездили на каникулы или покупали первые машины, Франц вкалывал в ночную смену. Да и позже, уверяет он, роскошь была ему чужда. Франц купается в бедности своей юности, как другие купаются в достатке, покуда я не заявляю, что для себя ни за что не купила бы такого дорогого сыра, просто не хотела принимать его, Франца, хуже, чем он привык. Ненароком я вдруг вошла следом за Францем в ту дверь, за которой — в моем вооб-

ражении — он так часто исчезает, чтобы потом появиться в мирной семейной обстановке: сидит за столом, перед ним тарелка бульона, в бульоне две — три клецки.

Остальное представляется мне скорее скудным: ни вина, ни французского мягкого сыра, ни винограда в неурочное время года — вместо этого кусок «гауды» с полки холодильника в супермаркете «Майер», или «Кайзер», или «Болле», а еще яблоки, — и все это вместе привлекает мой интерес к обстановке квартиры Франца, ведь куда-то должны быть вложены немалые его доходы, и если уж не в чувственные радости жизни, так, значит, в непреходящее, как называла Карин Людериц свою мебель в стиле бидермейер и тщательно подобранную посуду с луковичным орнаментом, должны быть вложены в будущее наследство, чья ценность увеличивается за счет одного только течения времени. И конечно, в квартиру, где Франц не «дома», а «у себя», куда он «к себе» от меня уходит.

Наблюдаю: Франц кладет в рот виноградинки, одну за другой через равные промежутки времени. Как начинается головная боль, так во мне закипает некоторое раздражение. Нет, не хочу я знать, как живет Франц, когда он не здесь. Не хочу

знать, круглый или квадратный у него обеденный стол, дешевый или дорогой сыр на этот стол подается, старинные или современные картины висят на стенах, застелены кровати белым или цветным бельем, блондинка или брюнетка у него жена, она блондинка, я это давно знаю. Не хочу я этого ничего знать.

— А знаешь ли ты, что я каталась верхом на сенбернаре? — заданный мною вопрос глуп, ведь Франц не может знать, каталась ли я на сенбернаре, потому что я раньше об этом не рассказывала, но главное — потому, что я сама в этом не уверена. Сенбернар принадлежал хозяину пивной на площади, где стояла наша церковь, чьи окна тогда еще не замуровали, а значит, наши отцы — Гансиков отец и мой — еще не вернулись с войны. Ростом я тогда была не больше ста пятнадцати — ста двадцати сантиметров, а из-за послевоенного недоедания весила так мало, что крупный сенбернар мог показаться мне подходящим для верховой езды животным.

Сколько я ни видела потом сенбернаров, ни один не был его крупнее, но дело все в том, что пока я не выросла, мне больше ни разу не встречались сенбернары. В хорошую погоду он с полудня, когда открывалась пивная, растянувшись, лежал

перед дверью, обычно на брюхе, одна толстенная лапа поджата, и глазами — сначала я приняла приспущенные нижние веки за признак болезни — следил за всем, что движется, не поворачивая при этом головы. Это был могучий зверь, а я его не боялась. Дом, где находилась пивная, единственный на площади остался невредим. Посреди развалин лежал пес — будто сама доброта обрела плоть и шкуру.

Иногда он поднимался и зевая, потягивался, причем слюна капала у него из пасти, а потом снова валился на мостовую, уже по-иному расположив лапы. Когда он вставал, его голова доставала мне до шеи, может, даже до подбородка, и кроме куклы-пупса ничего я не желала так страстно, как проехаться разок вокруг площади верхом на сенбернаре. Часто я по полчаса, а то и дольше, сидела рядом с ним на корточках, гладила лапы, кончиками пальцев ощупывала складки под шерстью на лбу, все надеясь, что кому-нибудь из посетителей пивной в пьяном кураже придет в голову посадить меня на спину псу и отправить верхом вокруг площади. Однажды это вроде даже и было. Вдруг я оказалась на нем сверху, как за уздечку схватила за уши, изумительно мягкие и шелковистые на ощупь, и он неторопливо обо-

шел площадь со мною на спине один, два, а то и три раза.

Очень-очень нескоро я рассказала эту историю матери. Боялась, что она из страха перед собаками задним числом запретит мне устраивать такие приключения. Но однажды, будучи уже взрослой, все-таки ей поведала, что проехалась по площади на сенбернаре из пивной, — но она не поверила. Якобы я это выдумала, в лучшем случае — увидала во сне, а то бы уж ей тогда сообщили, ведь все, что бы я ни учинила, рано или поздно достигало материнских ушей, — говорила и говорила, улыбаясь, будто как раз вспомнила такой случай, и мне тут же захотелось сменить тему.

— Короче, я сама теперь не помню, — объясняю я Францу, — по правде я каталась на сенбернаре или же так искренне этого желала, так достоверно себе представляла, что сама поверила, будто каталась. Мои ладони и теперь помнят его уши, я чувствую, как шерсть щекочет мне ноги и широкая спина неуклюже качается подо мной, а я сижу верхом, выпрямив спину, и оглядываю площадь в поисках Гансика Пецке, вот бы он меня увидел.

— Ах да, — рассуждает Франц, — ах да, такого рода воспоминания целиком зависят от харак-

тера человека, как и сновидения. Одним снятся кошмары, другим райские кущи. Я вообще снов не вижу, но — как в любой газете пишут — на самом деле вижу, просто вытесняю из сознания. А ты, наоборот, сон принимаешь за действительность.

— Но, может, это и была действительность? — пытаюсь возразить я.

— Может, — произносит Франц, перекатывая последнюю виноградинку от одного края стола к другому, — а может, и нет. Я-то скорее склонен считать действительность, если она слишком для меня прекрасна, сном. Счастье, — продолжает Франц, — счастье мимолетно. Так и в книгах написано, а уж в нашем возрасте знаешь это по опыту. И какая разница, обманываемся мы мимолетностью сна или мимолетностью реальной жизни? Наоборот, если скажу себе: это сон, это точно сон, — вот я и предвижу его конец, и могу без остатка отдаться мгновению.

Смотрю, как виноградинка под пальцем Франца выписывает по столу узоры, и пытаюсь догадаться, считает ли он нас, себя и меня, тоже сном с неизбежным пробуждением, рано или поздно, или же он держит нас за реальность, что в его случае означает: не настолько она прекрасна.

Раздумываю, стоит ли рассказать Францу историю про туфли — вообще-то незначительную, но сохранившуюся в памяти как притча о недостатках моего характера. По случаю я купила пару итальянских туфель — летние, синие с белым, из мягкой кожи и на маленьком каблучке. Показала подруге, а та — то ли правда так думала, то ли сочла вульгарной мою радость по поводу обычной обуви — заявила, мол, это явная дешевка и подметки того и гляди треснут. Радость моя пропала, и вернуть ее можно было только доказательством противоположного. Дома я взяла туфлю за два конца и сгибала до тех пор, пока не треснула подметка. Даже ходи я неделями только на цыпочках или только на пятках, чего делать бы не стала, туфли не подверглись бы такому испытанию, как и при любых перекосах, поворотах, разворотах ноги. Возможно, я носила бы эти туфли все лето, а может, и следующее лето, а может, и еще через одно, если бы добровольно и преждевременно не привела их к предсказанному концу.

Франц дает виноградинке заключительный пинок, но успевает ее поймать, пока не упала, другой рукой.

— Мне нужно уехать, — сообщает он.

— С кем?

Вместо ответа — неопределенное движение головой, то ли указывающее на западную часть города, то ли успокаивающее, то ли недовольное.

— Что за вопрос? Ты же знаешь.

— Когда? — спрашиваю я.

— Послезавтра, — отвечает Франц и, наконец, кладет в рот виноградинку.

Ясно чувствую, как во мне назревает взрыв. С каждым ударом сердца вверх, к глотке, движется сантиметр за сантиметром что-то горячее. Открой я сейчас рот, и исторгнется лава, — это последняя ясная мысль, которая мне запомнилась. Если бы я решила повторить то, что сказала Францу в тот вечер, то смогла бы лишь описать один — единственный, словно рвущийся из недр земли наружу, извергнутый всеми вместе зверями пустыни и леса, полыхающий огненно-красным звук. Возможно, я произносила какие-то фразы: подлежащие, сказуемые, дополнения, главные предложения, придаточные предложения. Возможно, они обладали неким содержанием, но гневно, умоляюще, угрожающе сливались в единый звук, о коем я и подозревать не могла, что он может поместиться внутри отдельного человека.

Всю весну я прождала подобного сообщения,

правда, сначала лишь для того, чтобы согласовать с ним план собственного отъезда, я ведь не хотела ни дня провести за пределами Берлина, зная, что в этот день могла бы увидеть Франца или хотя бы с ним поговорить.

Каждая последующая неделя, когда Франц ни намеком не упоминал о возможности своего отсутствия, подпитывала надежду, мол, ему удалось под каким-либо предлогом избежать семейного предприятия, коли уж я сама уверена, что — не будь я на данный момент одна — совместное с мужем путешествие сочла бы невозможным. Сотню, тысячу, три тысячи раз я пыталась с тех пор понять, отчего заявление Франца об отъезде послезавтра застало меня врасплох, и пришла к выводу: к тому моменту я уже полностью подчинилась логике, какая другим — и мне самой, с тех пор как я совсем утратила надежду — попросту недоступна. Возможно даже, что неверно толкуя молчание Франца в угоду своим желаниям, я надеялась отправиться в путешествие с ним вместе, в Саут-Хадли, штат Массачусетс, наверное, и в сад Плиния Моуди, или к берегам Рио-Гранде на поиски *Camponotus rufipes* — как рассказывал мне Франц, в горных регионах их можно обнаружить в древесных пнях, а на низменностях — высоко в

кронах деревьев. Возможно, мы сначала поехали бы в Саут-Хадли, потом на Рио-Гранде, или наоборот — сначала на Рио-Гранде, потом в Саут-Хадли, во всяком случае я, видимо, безмерно радовалась нашей совместной поездке, и тут-то Франц мне сообщил, что должен послезавтра уехать, а потом — как бы показывая, что это не обсуждается, — сунул в рот последнюю виноградинку.

Должно быть, я приняла молчание Франца совершенно наоборот, а именно — за молчаливое обещание мне взамен данного обещания жене, и только этим можно объяснить неистовство, в какое я впала тем вечером и в каком находилась до самого возвращения Франца.

В субботу утром Франц улетал в Шотландию, как он сказал — осматривать Адрианов вал. Мне вспомнились мой муж и Эмиль с их восхищением линией Мажино, хотя Франц утверждал, будто не он, а его тяготеющая к знаниям жена выбрала цель поездки, прочитав исторический роман об императоре Адриане. До того я и слыхом не слыхивала ни про какой Адрианов вал, и до конца дней он интересовал бы меня не больше линии Мажино, если бы Франц со своей женой — теперь уже известной мне как блондинка и читательница исторических романов, хотя в этих

сведениях я нисколько не нуждалась, — если бы Франц с женой не отправились в паломничество ради пограничного сооружения длиной в сто двадцать километров.

В пятницу я позвонила в справочное, чтобы разузнать о подходящих для Франца рейсах. Утром только один самолет до Эдинбурга, в десять из Тегеля. Не помню, к этому ли моменту я уже решила сама поехать в аэропорт и посмотреть, как Франц с женой выходят из такси или из автобуса, тащат багаж через автоматические двери, проходят регистрацию и по очереди движутся к паспортному контролю. Более вероятно, что я каким-то образом, пусть даже мучительным, хотела принять участие в этой поездке. Хотела знать, когда Франц встанет, когда побреется, позавтракает, вызовет такси, я хотела проследить за всеми мельчайшими подробностями его отъезда. Будильник у меня зазвонил в семь часов. Встала, приняла душ, выпила кофе, при всех этих делах думая про Франца и его жену-блондинку, и, садясь в восемь с чем-то в машину, следовала скорее некоему влечению, нежели сознательному намерению. До того я летала четыре раза в жизни: один раз на конгресс в Москву, один раз на отдых в Варну и дважды в Будапешт. Аэропорт нельзя назвать местом, где

я чувствовала себя как дома, хотя бы уж потому, что на табло значились все крупные города мира и с удостоверением личности плюс авиабилет можно было примкнуть к любой кучке людей перед стойкой оформления, сесть в самолет, как в автобус или в трамвай, и переправиться в Париж, или в Рио, или в Эдинбург. Не знаю, считается ли до сих пор нормальным беспрестанно преодолевать воздушные выси в невнятной надежде через час-два оказаться в другом месте, при другой погоде и заниматься тем, чем можно заняться и дома, а именно — спать, есть, ссориться, любить, что-то осматривать, читать, ходить за покупками. Для меня уже тогда подобный образ жизни был сомнительным, хотя в сравнении со злостным запретом на выезд, принятым в странную эпоху, такое казалось нормой благополучия.

Я встала у телефонной будки рядом с выходом номер пять, где уже объявили рейс на Эдинбург, и ни на секунду не выпускала из виду площадку перед стойкой, ибо ее непременно должны были пересечь Франц с женой на пути к Адрианову валу. Всю махину аэропорта я сократила до этого участка, где картинка постоянно сменялась, будто на киноэкране: молодые люди с рюкзаками невозмутимо протягивают билет через стойку;

индианка в сине-золотом одеянии, за ней юноша — верно, сын — везет тележку с багажом; светловолосая супружеская пара, оба толстые, с тремя толстыми светловолосыми детьми, у каждого под мышкой мягкая игрушка. Между ними то в одну сторону, то в другую снует девушка с розой в руке — явно не может отыскать того, кому хотела преподнести эту розу. То слева, то справа появлялась она на моей картинке, пересекая ее тонкими своими, нервными ножками. Юбка на ней очень короткая, сверху расстегнутый пиджак строгого покроя, и с ним составляет трогательный контраст по-детски искривленный в отчаянье рот и беспомощные глаза на личике с острым подбородком. Потом я заметила Франца — сначала его, затем маленькую блондинку, явно имевшую к нему отношение. Франц тащил за собой, как упирающихся собак, два чемодана, а блондинка — дорожную сумку, причем руку с билетами она прижала к груди. Жена Франца мне не понравилась с первого взгляда, впрочем, я и до сих пор не знаю, может, при других обстоятельствах она понравилась мне больше, но не особенно в это верю, поскольку отлично помню, как в то утро она своими крошечными ножками, наверное тридцать четвертого размера, семени-

ла по залу вылета, вытянув шею, но без всякой спешки и блуждания глазами. Не знай я, что она библиотекарша, так приняла бы за учительницу физкультуры, вроде нашей Перленберг в старших классах, — мелкая и жесткая, только в руке авиабилеты вместо свистка.

Но что же Франц, мой бледный, меланхоличный Франц, способный распознать в скелете брахиозавра красивое животное, каким тот некогда являлся, что же Франц мог иметь общего с учительницей Перленберг? Тот, кто сейчас проходит паспортный контроль, это на мой взгляд — четырехногий гомункулус, урод без права на существование; они не созданы друг для друга, как Франц и первая его любовь, ошибка, ошибка, ошибка — и в это слово я вкладываю все свое возмущение. Не могла я поверить, что данное ошибочное создание — самостоятельный выбор Франца. Это грабеж, похищение людей, мелкая ловкая учительница Перленберг похитила мужчину, не для нее предусмотренного, и сроду бы ей это не удалось, если бы в Берлине не было стены и странной эпохи, помешавшей нам с Францем встретиться на двадцать или двадцать пять лет раньше. Только поэтому мне пришлось теперь стоять, укрывшись в телефонной будке, и на-

блюдать, как чужая женщина, предварительно овладев его паспортом — ведь помимо авиабилетов она держала в руке два паспорта, — вела Франца через контроль, чтобы сесть в самолет, который доставит его к Адрианову валу в Шотландию, где он ничего не потерял и где ему нечего искать, вместо Рио-Гранде или Саут-Хадли, штат Массачусетс. По-моему, я не поинтересовалась, есть ли свободные места в самолете, хотя можно себе предположить, что я, охваченная идеей следовать за Францем в Эдинбург, все-таки об этом спрашивала и теперь просто забыла, или что самолет был забит до последнего местечка; словом, я не полетела в Эдинбург вслед за Францем и блондинкой, похожей на учительницу Перленберг.

* * *

Какая погода стояла тем летом — не помню, как не помню — первое это было наше лето, или третье, или последнее, и вообще — пережили мы вместе одно лето или несколько, или не удалось нам насладиться ни разу полной сменой всех четырех времен года. Для меня время, проведенное с Францем, осталось безвременным, не поддающимся учету, и внутри него я с тех пор застряла,

как в воздушном пространстве шара.

В ту субботу, когда Франц со своей мелкой женой-блондинкой улетел в Шотландию, шел дождь, или светило солнце, или солнце не светило и погода стояла сухая и холодная — не помню. До последней секунды я надеялась, что Франц вернется, как вернулась бы я, если бы кто-то меня вздумал умыкнуть из Берлина, но в этом не было бы необходимости, поскольку я бы и не паковала чемоданы, и не перевозила бы их в аэропорт, поскольку я никому не обещала бы совершить путешествие вместе, поскольку я никогда и ни на один день добровольно не оставила бы Франца. В потоке машин я бесцельно моталась по городу: бездарный хаос, вообще не место для меня, без Франца лишенное смысла — будто я не прожила тут без Франца всю свою жизнь. Стара я, чтобы не знать: до смешного я соответствую самому распространенному из клише нелепой влюбленной, но не способна ни на что другое, кроме как отдаться этому состоянию целиком и полностью. Подобно заплутавшей мошке, что напрасно и безнадежно бьется и бьется в оконное стекло, искала я пути отступления от собственной беззащитности. Франц отбыл в недоступность, да еще с женщиной, к которой имеет отношение больше,

чем ко мне. «Смерть, только смерть», — твердила я про себя. Мысль о том, что с предстоящей мукой подвластна справиться только смерть, заставила меня разразиться слезами, так что пришлось свернуть в ближайший переулок и найти место для стоянки, впрочем, уже через несколько минут мною покинутой из-за темнокудрых детишек, игравших поблизости и подтянувшихся тут же к моей машине, чтобы с любопытством уставиться в ветровое стекло, за которым они с нескрываемым удивлением обнаружили рыдающую немолодую женщину. Понятия не имела, где я, совсем не знала, куда мне надо, и, увидев перед собой машину, за исключением номерных знаков в точности похожую на машину Франца, поехала за ней. Конечно, я понимала, что это чужая машина и что Франц сейчас сидит в самолете рядом с женой, наверное, как раз ей зачитывая заметку из газеты или держа ее за руку, ведь она — как и я — боится перелетов. И при всем том сочла чужую машину утешительной тенью Франца, ведь тот, кто сидел за рулем, выбрал ту же марку и тот же цвет, что и Франц, хотя мне не было доподлинно известно, чей это выбор — Франца или его жены. Вот так мы с ним часто ездили друг за другом, в западной части города Франц передо мной, в во-

сточной — я перед Францем. Та машина впереди развила большую скорость, коль мне пришлось даже проехать на красный, чтобы не отстать. Когда мы выехали на улицу 17 июня, я на миг задумалась, не стоит ли, раз уж я знаю отсюда дорогу домой, туда и поехать, но мне показалось спокойнее следовать за машиной, похожей на машину Франца. И тут в переулке у Кантштрассе она неожиданно скрылась в подземном гараже, так что мне даже не удалось понять, мужчина за рулем или женщина. Позже мне пришло в голову, что водитель, должно быть, заметил преследование и решил таким образом оторваться. Может, я всю дорогу ехала за наркокурьером или русским сутенером, замаскировавшимся неприметной машиной среднего класса — такой, какие предпочитают серьезные, не склонные к легкомыслию люди вроде Франца, — и, въехав за ним следом в гараж, я подвергла бы себя большой опасности.

Не размышляя, я просто двинулась дальше по знакомым местам. На пути остановилась у книжного и купила две книжки про Англию. Исторический роман об императоре Адриане, о котором я также справилась, продавцу известен не был.

Одно только место во всем городе имело для ме-

ня «смысл» — иначе не скажешь, ведь все мною увиденное, улицы, киоски, перетекающие один в другой потоки людей, казались лишенными смысла настолько, что зря я искала в себе хотя бы зыбкого чувства принадлежности ко всему этому, и мне казалось, будто без посредничества Франца я не имею отношения ни к кому и ни к чему. Только на свое место у ног брахиозавра я возлагала надежду, ведь оно для меня было гарантией непреходящего, неподвластного абсурду человеческих, в том числе и моих, деяний.

Музей оказался почти пуст. Я отправила старушку, сторожившую зал, пить кофе и уселась на ее стул, узаконив перед лицом немногочисленных посетителей свою стоическую, а на всяком другом месте способную показаться смешной погруженность в себя. Я ждала. Он улыбался, глуповато или победоносно, как всегда.

Долго я ждала, но желанное утешение не приходило. «Какое красивое животное», — сказал тогда Франц. В странную эпоху брахиозавр годился как символ иного смысла, признанного мною высшим, — ведь мысль о том, что все в мире преходяще, раз уж и он оказался преходящим, была столь же банальна, сколь и спасительна. Но разве мог он спасти от того, что имеет одно

с ним происхождение? Лишь позже я поняла, что неукротимость моего чувства к Францу определялась динозаврской сущностью этого чувства, иными словами: я осознала, что любила-то именно динозаврская моя сущность, нечто праисторическое, атавистически-могучее, пренебрегающее нормами цивилизации, а все иное, требующее словесного выражения, не имеет значения перед лицом моей любви к Францу.

В ту субботу, напрасно ожидая покоя, за десятилетия обретенного мною во время ритуальных встреч с брахиозавром, я спрашивала себя только об одном: отчего теперь, когда никто не мешает мне полететь в Саут-Хадли, штат Массачусетс, или еще куда-нибудь, я опять (или все еще?) сижу на том же месте под стеклянным куполом нашего музея, будто завоеванная свобода только для того и годится, чтобы обменять ее на новый, на сей раз добровольно избранный плен. Позже я изменила мнение по данному вопросу. Я сделала свой выбор и среди всех возможностей решилась на одну — любить Франца. Знала, что могу уехать и осмотреть, наконец, странные следы птичьих лапок в саду Плиния Моуди. Но как я раньше непрестанно воображала себя в этом саду, хотя ни я, ни кто-либо другой из моего поколения и

думать не мог, что доживет до конца странной эпохи, — так теперь собиралась в эту поездку с Францем и только с Францем. Стоит поразмыслить и о том, что в миг исполнения величайшей моей мечты таковая стала для величайшей мечты слишком мелкой. Но кто решится упрекнуть заключенного, в стенах тюрьмы мечтавшего только о свободе, в том, что он, свободу наконец-то обретя, считает ее всего лишь необходимым условием для счастья?

Пока я сидела возле брахиозавра на стульчике дежурной по залу, сознавая комичность своего положения и не в силах образумиться, в памяти всплыли забытые стихи, сначала так: «Завоевать тебя иль умереть», и я повторяла эти четыре слова снова и снова, пыталась дыханием воспроизвести ритм недостающей строчки, пока не высветилась и она:

Одно из двух теперь мне остается:
Завоевать тебя иль умереть.

Эти слова принадлежат Пенфесилее. Я их запомнила лет в двадцать-двадцать пять. И никогда не обращалась с ними к мужчине. А потом про них забыла.

— Вот я и пришла, — шепотом произнесла ста-

рушка, дежурная по залу. С пожеланием всего доброго я уступила ей место.

— Иль умереть, — твердила я, — но только не смириться, нет, смириться невозможно.

Эту фразу я услышала от Беаты, та собиралась в актерскую школу и для показа зубрила текст пьесы Клейста «Пенфесилея». Беата называла себя Беа, но все остальные звали ее Ата, и она нисколечко не возражала. Не помню, как я познакомилась с Атой, кажется, она была чьей-то сестрой, но чьей? Тоже забыла. И еще не помню, чтобы я хоть раз видела ее одетой иначе, нежели в узкие брюки из черного вельвета и длинный мужской свитер, тоже черный. И еще черные волосы, длиной не больше спички, и косой пробор. Она была тремя годами старше меня и жила одна в квартире на нижнем этаже в районе Пренцлауэр-Берг, а я-то по-прежнему занимала свою детскую рядом с родительской спальней. Правда, вскоре после того, как мы познакомились, я сняла по соседству захудалую однокомнатную квартирку с уборной на лестнице. Год или два мы виделись почти каждый день. Я училась, Ата подрабатывала официанткой, а передо мной разыгрывала роли, с которыми уж в следующий раз непременно пройдет конкурс. «Пенфесилея»

ежегодно входила в ее репертуар. Мы пили болгарское вино по пять марок за бутылку, «Гамзу» или «Мавруд», и будущих детей решили назвать так же: если девочка — Гамза, если мальчик — Мавруд.

Была у Аты любовь, она его называла Али: из-за алиментов. Тот не платил ребенку, зачатому лет в семнадцать, в связи с чем угодил под суд. Али, безработный актер, жил в западной части Берлина и в ту ночь, когда посреди города поставили стену, спокойно спал у Аты в постели. А поскольку суд района Шарлоттенбург как раз возбудил против него очередное дело в связи с неуплатой все тех же алиментов, он принял решение остаться за стеной у Аты, чтобы не угодить вновь за стены тюрьмы Моабит.

Али, за одну ночь смывший с себя клеймо преступника, страшно возгордился и нашел с помощью Аты место помзавлита в берлинском театре «Метрополь». Когда мы с Атой познакомились, он после трех лет райского счастья — по утверждению Аты — как раз съехал от нее к танцовщице из театра «Метрополь», которую Ата называла не иначе как Лили, хотя имя той было Элиза.

Ничего не осталось от Али, кроме Парцифа-

ля — похожего на таксу рыжего пса с завитым спиралькой хвостом и слишком крупной, подходящей скорее для овчарки головой. С Парцифалем невозможно было сесть в трамвай, не вызвав недоуменных смешков, однако пес принимал их за одобрение, отвечая пассажирам судорожным повиливанием своего проволочного хвостика. Пес этот однажды ночью попался Али на пути домой из театра. Беата о нем заботилась, но главное — и впоследствии это явилось единственным ее юридически убедительным аргументом: она с самого начала аккуратно выплачивала налог за домашнее животное. Через несколько дней после переезда Али явился к Ате навестить Парцифаля и вызвался пройтись с ним по кварталу, а часом позже позвонил из автомата с сообщением, что пес отныне будет проживать у него в связи с тем, что он, то есть пес, вскоре начнет выступать на сцене театра «Метрополь» в оперетте «Белый конь». Никогда я не видела Беату в слезах по Али, хотя это вовсе не означает, что она о нем не плакала, просто я этого не видела. О Парцифале она начинала рыдать, как только сама или кто-то другой упоминал его в разговоре, и теперь мне кажется, что после похищения Парцифаля мы только и говорили, что о нем. Вскоре состоялась

премьера «Белого коня». Али не соврал: Парцифаль действительно выступал на сцене, после представления срывая аплодисменты — по крайней мере, так докладывали Ате верные люди из театра «Метрополь». От них она также узнала, что после каждого спектакля Али надолго, на несколько часов, оставляет собаку у сторожа, чтобы с Лили и другими танцовщицами посидеть и выпить в буфете.

Однажды вечером как раз шел «Белый конь» — Ата всегда знала из репертуарного плана, когда он идет, — а трое или четверо друзей Аты, в том числе и я, у нее на кухне за столом пили «Гамзу» или «Мавруд». И тут кому-то в голову пришла идея похитить Парцифаля, как его похитил Али, если тот действительно сидит один-одинешенек у сторожа.

Почему выбор пал на меня: бросили мы жребий или дело было в моем скромном по сравнению с остальной компанией виде, — не помню. Некоего Райнера, мне едва знакомого, назначили в сопровождающие: в этот вечер он приехал на машине своей матери. Мы себя чувствовали партизанами, отправляющимися подрывать фашистский склад оружия, и потому были почти разочарованы, когда сторож — мы ему объяснили, что должны

по просьбе Али забрать собаку — безропотно отвязал Парцифаля от ножки стула и сунул кому-то из нас в руку поводок. Тут мы, желая самим себе доказать опасность предприятия, дунули через пустырь за театром к машине, а между нами пес с развевающимися по ветру ушами. Попав наконец в объятия Аты, пес издал радостный рык, Ата заплакала и позволила ему слизать со щек слезы. Мы стояли вокруг, растроганные и удовлетворенные: вот справедливость и любовь торжествуют, и мы тоже к этому причастны. Эти минуты и теперь, семьдесят или восемьдесят лет спустя, принадлежат к самым счастливым в моей жизни.

Через два часа объявился Али, угрожая принять меры, если Ата тотчас, не позднее завтрашнего дня, не выдаст ему собаку, из чего мы сделали вывод, что собаке следует незамедлительно покинуть Берлин и обретаться в недоступном для Али месте. Зиглинда, подружка Аты, предложила отправить пса к родителям в деревню близ Пазевалька, а сама Ата размышляла, не стоит ли для пущей надежности перекрасить его в другой цвет.

На следующий день Зиглинда действительно отправилась с Парцифалем к своим родителям, а

вот от окраски Ата отказалась — как во избежание упреков за издевательство над животным, так и из любви к природному облику Парцифаля.

Однако небольшой, невзрачный рыжий нес, не обладавший никакой ценностью ни для кого, кроме Аты и Али, да и для них лишь воплощавший в себе то, что некогда их связывало и что ныне каждый хотел сохранить лично для себя, этот пес, здоровенная башка и хвост колечком, стал любимцем публики в единственном на всю восточную часть города театре оперетты, а тем самым и предметом спора с определенной стоимостью, в связи с чем театр «Метрополь» в лице юридического консультанта, господина доктора Ганса-Курта Вайера, заявил свои претензии. Ате было вручено извещение, где она именовалась «ответчицей» и приглашалась на среду в одиннадцать в районный суд Берлин-Митте на Литтенштрассе. От услуг адвоката она отказалась, ни в коей мере не допуская возможности сомнений кого бы то ни было, и уж во всяком случае суда, в моральной правомерности ее поступка, поскольку она, Ата, обеспечивала собаке уход, а главное — с самого начала аккуратно выплачивала налог за домашнее животное. Все это она в подробностях изложила в письме к уважаемому

суду, обращаясь с просьбой выслушать Зиглинду и меня как свидетелей по данному делу. Да, один раз я все-таки увидела Ату не в черных вельветовых брюках и черном свитере. Ради заседания суда она перекупила у какой-то знакомой весьма элегантный и почти не ношенный костюм в мелкую клеточку, обязав также и нас с Зиглиндой выступать в костюмах. Перед самым уходом мы выстроились против большого зеркала в коридоре у Аты и хором признали: если у судьи глаза на месте, то в правдивости показании и нашей честности он ни на миг не усомнится. Пока слушалось дело, мы с Зиглиндой сидели в коридоре на жесткой скамейке. Взволнованно, молчаливо ждали, когда нас вызовут как свидетелей. Время от времени поднимали друг на друга глаза, и одна из нас говорила: «Боже мой, бедная Ата!» или «Ну, это мы еще посмотрим!». Потом вызвали Зиглинду, но тут же, через две минутки, она вернулась ко мне на скамейку, потому что суд заинтересовало только одно — адрес ее родителей. Но Зиглинде хотя бы удалось войти в зал суда, исполнив свою роль свидетельницы, пусть и эпизодическую, а меня так и не вызвали, так и не допросили, хотя именно я похитила Парцифаля.

Ату приговорили к выдаче собаки в течение

трех суток. Почему ей пришлось заплатить всего тринадцать марок и восемьдесят шесть пфеннигов за судебные издержки — не помню, только помню, что именно тринадцать марок и восемьдесят шесть пфеннигов. Возможно, судья-женщина поняла — так показалось Ате, — что между Атой и Али решалось нечто иное, нежели вопрос о похищении собаки, и устроила так, чтобы выплаченная сумма налога покрывала сумму издержек; возможно, Али старался успокоить свою нечистую совесть и добровольно взял на себя расходы.

За наше поражение мы распили бутылку сладкого шампанского. Ата, усевшись аж на спинку кресла, то и дело разражалась гневными тирадами в адрес господина доктора Ганса-Курта Вайера, с ее точки зрения единственно виновного в подобном финале истории, которая его никаким боком не касается, потому что это история любовная и касается она только Аты и Али, а следовательно не подлежит слушанию в суде, каковое и не состоялось бы, кабы господин доктор Ганс-Курт Вайер из-за уродского театрального репертуара и вонючих денег не сделал из нее криминальный сюжет. Конечно, мое разочарование не сравнишь с горем Аты, но и я чувствовала себя

обманутой господином доктором Гансом-Куртом Вайером, уложившим мое деяние в один-два жалких параграфа, тем самым его попросту отменив. Торжество справедливости в нашей жизни не состоялось, как и возвращение Парцифаля.

Дня через два Ата предъявила нам с Зиглиндой куколку, слепленную из воска: это, мол, доктор Ганс-Курт Вайер, и мы его сейчас убьем. Правда, для церемонии, обозначенной Атой как малайский ритуал смерти, увы, требовались также волосы и срезанные ногти приговоренного, неимение каковых нам пришлось компенсировать общей концентрацией и силой воли. Ата пробила грудь куколки булавкой. Мы убили доктора Ганса-Курта Вайера. А суть в том, что не прошло и нескольких месяцев, как тот умер — внезапно и скоропостижно, если верить объявлению в газете. Позже нам стало известно, что таинственная, не подлежащая излечению лихорадка укокошила его буквально за считанные дни.

В ту субботу, когда Франц улетел в Шотландию с женщиной вроде учительницы Перленберг, я поехала к Ате. Стоило мне про нее вспомнить, как меня охватила острая тоска, впрочем, не стану называть это чувство тоской по Ате. Скорее

— тоской по былым временам, еще до нашего рабского смиренья, тоской по самому-самому началу, когда идеал еще, кажется, достижим, когда самая мысль об обычной работе и обычной семье вызывает презрительное отвращение, когда мы все еще точно знаем, чего хотим и чего не хотим совершить в жизни. Именно тогда Ата со мной дружила. И должна еще помнить меня той, какой я была, с какой я — начиная от встречи с Францем — чувствую родство особенно близкое. Давно это было: все-или-ничего, да-или-смерть — и связанные с этим волнения. «Завоевать тебя иль умереть» — такие слова относятся или к началу, или к концу.

* * *

Ата действительно стала актрисой. Мы не виделись лет семь, а то и десять. Время от времени ее фамилия попадалась мне в титрах дубляжа. Когда вышли новые телефонные книги, я стала искать Ату по списку, и не затем, чтобы собраться к ней в гости, а чтобы убедиться: да, она и вправду была на свете и есть до сих пор.

Ата проживала все на той же улице, но в другом доме, и не вровень с землей, а на третьем этаже. Выглядела точно как раньше, просто старше, как

и я. И волосы крашеные, как мои.

— Вот это да! — сказала Ата. — Входи.

Старое кресло в углу у окна. Ата принесла из кухни бокалы:

— Белое или красное?

Вспомнив «Гамзу» и «Мавруд», я выбрала красное. Позже Ата рассказывала, дескать, выглядела я настолько растерянной, что она перепугалась, не началась ли у меня шизофрения, как у одной ее подружки, вдруг услышавшей голоса и в связи с этим заключенной в некую лечебницу, откуда ее выпустили лишь спустя несколько месяцев с завшивленной головой.

Мы вспомнили Ату и Али, причем Ата всерьез поинтересовалась, нормальные мы были тогда или чокнутые, на что я ей сообщила, мол, долгое время я полагала — чокнутые, но с некоторых пор верю — абсолютно нормальные, и вообще делали все правильно.

Парцифаль давно уже подох, а Али застрял где-то на пути в Голливуд, то есть до Голливуда явно не доехал, а то бы точно написал.

Чем дольше я на нее смотрела, тем меньше находила различий с Атой, декламирующей «Пенфесилею» и сохранившейся в моей памяти.

— Вообще-то все как раньше, — заметила я, —

просто мы какие-то старые.

— Тогда мы все собирались в мир иной уже к тридцати.

Тогда и впрямь мне легче было представить себе семьдесят лет, чем наши затхлые пятьдесят, не молодость и не старость, бесполое существо с упреком в глазах под химической завивкой.

— А теперь что? — спросила Ата.

— Теперь-то?.. — ответила я ей.

Пили вино, рассуждали о старости, словно что-то в ней понимали. Сейчас, спустя сорок или пятьдесят лет, старость мне знакома не понаслышке, и ничего хорошего я в ней не нахожу. Все хорошее, что говорят о старости, либо глупость, либо вымысел — как, например, про мудрость возраста. А что, нельзя быть мудрым, не гния заживо? Медленно глохнешь, слепнешь, коченеешь, дуреешь. Полагаю, и я тут сидя сдурела, хотя доказательств тому нет, поскольку я ни с кем не имею дела. Нет, если уж и есть в старости что-то хорошее, так только одно: она — замечательная подготовка к смерти, причем даже в двух смыслах. Во-первых, у нас есть достаточно времени, чтобы оттачивать и шлифовать свои воспоминания, так что в конце концов элементы декораций можно подогнать один к другому,

соорудив вполне убедительную биографию. Во-вторых, прогрессирующий распад оказывается для нас самих столь обременителен, что однажды мы начинаем тосковать о смерти, способной освободить нас от самого дорогого в прежней жизни, то есть от себя. Впрочем, сказанное действительно лишь в том случае, если мы сгниваем раньше, чем дуреем.

Ата задрала рукав свитера до самого плеча и вцепилась в обвисшую кожу на руке, от подмышки до локтя.

— Ты только посмотри! — завопила она с отвращением в голосе. — Нет, ты посмотри!

— Мне мое тело никогда не нравилось, — отозвалась я. — А тебе твое — как?

Она встала, потянула свитер вниз, на бедра, раздумчиво себя оглядела.

— Я обязана ему лучшими минутами жизни, — твердо заявила Ата и подлила вина в бокалы.

— Я вообще-то тоже, но только с недавних пор.

Наконец-то я смогла начать разговор про Франца. Рассказывала Ате, как встретилась с ним у ног динозавра, как он водил пальцами по моей щеке, рассказывала про его голос, про его серо-голубые глаза, про наше пение по ночам, про жену-блондинку и Адрианов вал. Еще сказала, что пришла

рассказать это ей, Ате, поскольку на всем свете не знаю никого, кому могла бы объяснить, как это со мной, чуть ли не бабушкой с выкрашенными седыми волосами, стряслось подобное — и только ее, Ату, надеюсь, не насмешит моя патетика: видите ли — о чем говорят: любовь на жизнь и на смерть. Пришла к ней из-за Али и Парцифаля, из-за господина доктора Ганса-Курта Вайера и всех тех безумных или, наоборот, вовсе не безумных лет, но главное — из-за того, что вспомнила слова: «Завоевать тебя иль умереть».

Ата выпрямилась, вытянула вперед руку, задрала подбородок и воскликнула:

— Отрера — мать великая моя, меня же мой народ зовет: Пенфесилея!

Затем снова рухнула в кресло.

— А вот насчет жизни и смерти — это ты серьезно? — решила она уточнить.

— Серьезней не бывает.

— Но жила же ты раньше без него.

— И очень плохо жила.

— Я имею в виду, умирать-то ты не собираешься, так?

— А почему бы нет?

— Что?!

— Вот я и спрашиваю себя, почему не собира-

юсь умирать? Это ведь не жизнь.

— Ага, ясно, — заключила Ата. — Ясно: «Страдаю, утратив единственное блаженство моей жизни, священную, живительную силу, с какой творил вокруг себя миры; ее не вернуть», — Гете, «Вертер».

— Ну, видишь, так оно и есть, он прав. Неинтересно мне теперь с брахиозавром. И в Саут-Хадли, штат Массачусетс, не еду. Точно: не вернуть блаженство моей жизни.

Ату вроде бы успокоило, что я хотя бы помню про былое блаженство, даже считая его утраченным. Она выудила мошку из бокала с вином, бросила на ковер. Казалось, я вернулась в ту точку моей жизни, в которой не по своей вине однажды оказалась, чтобы вот теперь, спустя десятилетия, опять застыть на том же распутье и опять выбирать дорогу.

— А Франц? — спросила Ата. — Тоже тебя любит?

В пятницу я бы еще ответила утвердительно: да, Франц тоже меня любит. Но с тех пор наступила суббота, и в голове моей мелькали картинки: Франц в узком коридорчике паспортного контроля, за ним жена тянет руку с обоими паспортами через его левое плечо; Франц улыбается жене,

потому что случайно задел ее локтем, — вот, точно, самое главное — улыбка. Покуда сердце мое, громко стуча, казалось, мчится галопом прямиком на смерть, на лице у Франца появилась эта мимолетная нежная улыбочка. Ни тени мысли обо мне — ни в уголке рта, ни вокруг глаз. Забыл! Улыбочка эта незаживающей раной зияет в моих воспоминаниях.

— Это любовь другого вида, — объяснила я Ате. — Такая, которая не мешает жить.

— Нет никаких видов! Есть только один вид: тот самый, из-за которого ты подыхаешь, — возмутилась Ата. — После Али я сама чуть не умерла. Повесила себе записку над кроватью: «Если бью — то я, если бьют — то тебя». На том и держалась, по крайней мере в жизни. А на сцене переживала и счастье, и катастрофы. Каждый день умирала от любви, с понедельника по пятницу, а в выходные иногда и дважды в день. Почти нет такого, чего я не знала бы о любви. Заканчивается она либо трагедией, либо банальностью, и ты, судя по всему, выбрала трагический конец.

— А ты?

— Никакого, — ответила Ага. — Ни трагедии, ни банальности — ничего.

Теплое солнце сквозь открытое окно светило

в комнату, освещало ковер, мебель, нас двоих, и мне пришло на ум, что мы с Атой залиты желтым этим светом, как две мошки янтарной смолой, — спиной к спине, ножки торчат в разные стороны — и сражены одной и той же смертью.

Глухая тоска, подобная успокоительному с побочным эффектом, притупляла мои чувства, но мне было хорошо. Как верно, что я там оказалась и сидела рядом с Атой, послушно отдавшись боли, целиком и полностью мне принадлежавшей, мне предназначенной. Или я — ей? Имя Франца звучало во мне, как для других звучит имя Бога. Счастье, несчастье, спасение — на все у меня одно слово: Франц. Так оно осталось и по сей день.

* * *

Я одна среди хищных растений, а там, где обычно лежит Франц, разложен план Эдинбурга. В одной из купленных утром книжек я прочитала, что в Эдинбурге 452 000 жителей, то есть меньше, чем во Франкфурте, и больше, чем в Потсдаме. На часах у нас десять, а в Эдинбурге девять. Все это время они гуляли вниз и вверх по Королевской Миле, от замка до Холирудского дворца или от Холирудского дворца до замка. Завтра, в воскресенье, сразу после завтрака отправятся в музей. А

сейчас присматривают ресторан в Старом городе — наверное, китайский, потому что дешевле, — или готовы удовлетвориться рыбой с картошкой на улице, чтобы сэкономить время и с пакетиком в руке отправиться на осмотр толбутской церкви или собора Святого Эгидия. Вот это точно: рыба с картошкой на улице. Жирные руки они протирают освежающими салфетками из самолета, жена Франца предусмотрительно прихватила их с собой. Потом Франц обнимает жену за узкие плечи — узкие у нее плечи, я видела, — а она прижимается к нему на ходу, и Франц целует ее в лобик, мимолетно и нежно, как улыбался на паспортном контроле. Навстречу им женщина, платье сине-черное в мелкий белый горошек. Похожа на меня, но Франц не замечает. Еще раз: им навстречу женщина, платье сине-черное в мелкий белый горошек, похожа на меня. Франц приостанавливается, пропуская один шажок, и смотрит ей вслед, а жена с его рукой на плече продолжает медленно идти, уводя его таким образом за собой.

Пытаюсь определить, где у меня в квартире северо-запад. Как мусульманин на молитве обращается в сторону Мекки, так я головой в сторону Эдинбурга встаю в кровати на колени, кладу руку

на карту и закрываю глаза.

— Франц, — зову я, — Франц! — и направляю ему то, что внутри себя считаю готовым к отправке, через Берлин, через Бранденбург и Мекленбург, через Северное море в Эдинбург, Шотландия. Там, в пабе, где сейчас сидит Франц со своей женой, — перед ним «Гиннес», перед ней апельсиновый сок — послание его настигнет. Я готова поверить абсолютно во все, что когда-либо читала про биотоки и парапсихологические феномены; между прочим, мне самой однажды на четверть часа отключили питание в мозгу. Если электрический заряд находит путь к адресату по небу, через моря и континенты, то почему бы заряду моей любви не найти Франца? Франц как раз пытается обратить внимание жены на отделку паба, на деревянные панели, которые ни разу не перекрашивали, на желтые пергаментные абажуры и в связи с этим переходит к аналитическим рассуждениям о Германии, послевоенном периоде и обрыве традиций, и тут-то в самую его грудь вонзается невидимый луч, заставляя умолкнуть: несколько мгновений он и думать ни о чем не может, он и выговорить ничего не может, кроме моего имени, потому что видит меня живьем и слышит мой голос, как девушка

из Огайо услышала своего возлюбленного, когда с раздробленными ногами он лежал в расселине скалы, призывая ее. Юношу спасли только благодаря тому, что девушка услышала зов.

Потом мне бы следовало их обоих оставить. Поискать знакомые лица в телевизоре. Позвонить Ате и сказать, мол, я все-таки сошла с ума, поскольку, стоя на коленях и обращаясь в сторону Шотландии, произносила разные клятвенные заверения, допуская, что Франц их услышит. Я и до сегодняшнего дня продолжаю себя спрашивать: может, наша с Францем история закончилась бы по-другому, может, он не покинул бы меня навеки осенней ночью, если бы я в тот вечер и во все остальные вечера не входила бы следом за ними в гостиничный номер.

Но я входила за ними следом. Видела, как они раздеваются или принимают душ, как голыми или полуголыми задевают друг друга в тесной комнате. Рассматривала жену Франца, когда она себя рассматривала в зеркале сбоку, пока Франц в душе, расслабив мускулы живота, и ладонь ниже пупка, не столь любуясь собой, сколь себя проверяя, будто хотела понять, тесна юбка в бедрах или нет. Снова и снова заставляла я ее снять одежду, чтобы снова и снова испытать

отвращение при виде ее голого тела. Широкие плоские бедра, грудь маленькая, как увядшие цветочные бутоны. Тело ее было не слишком красивым и не слишком уродливым, я так и не смогла догадаться, отчего оно вызывало во мне инстинктивное отвращение. Признаки возраста прочитывались на нем так же, как и на моем теле, и было бы естественным с моей стороны проявить снисходительность, пусть в некотором смысле и корыстную. Но не столь сами несовершенства и намеки на начавшееся разрушение заставляли меня восставать против ее тела, сколько его сущность. В нем наличествовали все женские признаки: грудь, прямая линия в завершении пышных волос внизу живота, между бедрами — слизистое отверстие, сквозь которое Франц проникал в нее ночью, пока я за ними подглядывала, — все у нее было таким же, как у меня, и тем не менее я отказывалась причислить ее к своему полу.

Когда мне в первый раз довелось увидеть, как Франц встал над ней на колени и осторожно снял с нее через голову ночную сорочку, а она вела себя при этом подобно дитяте; как он принял решение не позволить памяти обо мне остановить погружение в нее, будто в меня, как ему стало все

равно, чьи ноги раскинулись, чтобы принять его алчущую плоть, как этот акт стал неотменим, — я стала ожидать последнего предательства: он будет с ней таким же, как бывает со мной. Я обняла одеяло, под которым лежал Франц, когда приходил ко мне, обняла так, словно это и был Франц. Зажала одеяло между ногами, прижалась лицом к подушке, еще хранившей запах Франца, и смотрела, как бледное его тело ходит вверх и вниз над женщиной, чьи стоны мне были столь же отвратительны, сколь само ее тело. Сунув ладонь между ног, я рыдала под ударами, которые Франц наносил животу своей жены-блондинки.

Во вторник Франц позвонил из Ньюкасла. А в субботу они разве не ели рыбу с картошкой, — вот о чем я сразу спросила, но Франц уже забыл, когда они ели рыбу с картошкой, в субботу или в воскресенье.

— Ты с ней спишь? — второй мой вопрос.

— Нет, — ответ Франца.

— Если уж ты с ней спишь, так хоть мне не ври.

— Мы сегодня провели целый день у Адрианова вала.

— Вы. Вы. Я и не говорю, что вы спали друг с другом именно сегодня.

— Там через каждую милю — небольшой форт, а через каждые пятьсот метров — башня, — докладывал Франц.

— Франц, — перебила я, — Франц, если сегодня ночью ты опять с ней захочешь переспать, придется тебе вспомнить меня, и ничего не получится! Не встанет твой проклятый член — и все тут!

Франц умолк. Я извинилась и заверила его, что такой пошлятины еще в жизни не говорила, — если я не ошибаюсь, на тот момент это вполне соответствовало действительности.

С другой стороны провода некоторое время ничего не было слышно, кроме причмокиванья губ возле телефонной мембраны, а потом Франц сообщил, что биограф Адриана считал этот вал, эту стену, границей между римлянами и варварами.

Мы помолчали еще на полфунта или даже на целый английский фунт, а потом Франц пообещал, что позвонит еще. Я спросила, когда именно, а он сказал, что в ближайшие дни. Положил трубку и исчез за словом «Ньюкасл».

Ньюкасл-апон-Тайн расположен у восточного конца Адрианова вала, Карлайл — у западного. Наиболее крупные населенные пункты между ними носят названия Корбридж, Хексем, Хейдон-

Бридж, Холтуисл и Брэмптон. В путеводителе я нашла под рубрикой «Ньюкасл» семь гостиниц. Выписала номера телефонов и положила листок рядом с аппаратом. Я не знала, что хочу сказать Францу. Только знала, что в его глазах я — варварка. За одну-единственную фразу он записал меня в варвары, от которых такие цивилизованные римляне, как Франц и его жена, вынуждены отгораживаться стеной.

Даже опасность в неподходящую минуту ворваться телефонным звонком в семейный гостиничный номер не перевесила стремления немедленно разъяснить Францу его ошибку и сообщить, что я вовсе не варварка. Мысль о том, что он, раздраженный нашим разговором, особенно рад будет признать в учительнице Перленберг на крошечных ножках истинную спутницу своей цивилизованности, поскольку о любви ко мне, варварке, он уже начинает сокрушаться как о временном ослеплении, — эта мысль помешала мне осознать всю глупость моего плана. Первые две гостиницы я пропустила, они слишком дорогие. А в Англию я не звонила еще никогда. Непривычно воркующий двойной гудок обнадеживал, как некий пароль. Я уже близко к Францу! Женский голос что-то произнес, но разобрать мне

удалось лишь последних два слога, в которые полнозвучно влился смысл всего предыдущего:

— …help you?

— Excuse me, I want to speak to Mr. …

Эту фразу я выписала на бумажку рядом с телефонными номерами.

После паузы, когда за глухим цоканьем компьютерных клавиш я жадно пыталась расслышать фоновые шумы ньюкаслского гостиничного холла, мне было произнесено нечто англий-ски-любезное, из чего я по оттенку сожаления в голосе и словам «sorry» и «not» сделала вывод об отсутствии Франца.

Каждая новая неудача разжигала ту страсть, с какой я его искала. Я должна высказать ему эти слова: я — не варварка. Франц недоступен, я — отверженная, так считает Франц, хотя именно ему и только ему я принадлежу, — это вытесняло все прочие мысли, оставляя лишь адское чувство потерянности.

Мне было лет семь или восемь, когда родители как-то пошли на день рождения, а меня в наказание за неубранную комнату оставили дома одну. Заперли в квартире на ключ, и я по сей день спрашиваю себя, как это они не побоялись, что я задумаю вырваться из плена и выпрыгну в окно.

Мы жили на четвертом этаже. Я орала, я рыдала, я едва не задохнулась в рыданиях, сотрясавших тело. Легла у входной двери и ревом оповещала лестничную клетку о своем одиночестве через прорезь для почты. Вернувшись поздно вечером домой, родители обнаружили меня спящей у двери.

Когда последний опрошенный мною портье завершил свое сообщение словом «sorry», я заревела в телефон, что я не варварка, что в Ньюкасле это всем следует знать, а особенно одному господину из Германии, и зовут этого господина Франц. Я продолжала реветь, когда портье давно уже повесил трубку. В течение нескольких следующих дней я искала Франца по всем населенным пунктам вдоль Адрианова вала. И один раз нашла: в Хейдон-Бридж.

— One moment, please, — сказала дежурная. Но прежде чем Франц или его жена успели взять трубку, я прервала соединение. И тем не менее в последующие дни продолжала обзванивать все перечисленные в путеводителе гостиницы Холтуисла и Брэмптона, только обнаружить Франца вновь мне не удалось.

За два-три дня до запланированного Францем возвращения Ата пригласила на ужин всех, кто

участвовал в истории с собакой. Мой визит стал для нее поводом поискать друзей тех времен, и хотя бы Зиглинду и Райнера ей удалось найти. Странное дело, но, судя по ее рассказам, эти двое находились в том же состоянии внутреннего и внешнего распада, что и я, причем Зиглинда этим тяготилась, а Райнер намеренно в себе культивировал. Во всех случаях вечер обещал быть занятным.

Ата подала русские щи, утверждая, что она и тогда их для нас варила. Мы сидели за столом, как усталые люди, добравшиеся наконец-то до дому, и каждый пытался определить собственный возраст по лицам остальных. Зиглинда тянулась к супнице тонкой рукой, и на внутренней стороне руки выступали, помимо сухожилий, еще и толстые, синие, похожие на дождевых червей, вены. За полгода, прошедшие с той минуты, как ее бросил муж, Зиглинда похудела на пятнадцать килограммов и весит теперь всего-то сорок два с половиной, поэтому ей непременно надо съесть вторую порцию этого чудесного супчика. Хотя внезапное исчезновение плоти оставило на коже Зиглинды след в виде бессмысленных складок, исхудавшее это создание в мягко ниспадающем летнем платье напоминало мне скорее девочку

на пути к переходному возрасту, чем стареющую женщину. Рассказала, как однажды первая любовь ее мужа — в восемнадцать лет она с родителями сбежала в Гамбург, потом вышла замуж в Швецию и с тех пор жила близ Гётеборга, — однажды эта Рената позвонила ей в дверь и вошла, причем поначалу Зиглинда сочла данное событие отрадным, и потом тоже не сердилась, когда ее муж стал частенько видеться с Ренатой и та даже сняла в Берлине маленькую квартирку. Удивляло ее только то, что муж с момента появления Ренаты одаривал ее, Зиглинду, почти забытой сексуальной страстью, так что она ей, этой Ренате, была за это даже благодарна, хотя порой в его бурных порывах ей, Зиглинде, чудилось отчаяние. Теперь-то, конечно, ясно, что он пытался так утолить свою тягу к Ренате или перенести эту тягу на Зиглинду, как переносят имплантируемый орган, — так или иначе, а страсть была направлена не на Зиглинду лично. Через несколько месяцев, понятых Зиглиндой как трудная, но живительная фаза их совместной жизни, муж признался ей в любви к Ренате, и тогда Зиглинда, отвечавшая в совместной жизни за практическую сторону, решила, что для всех будет лучше, если муж переедет в маленькую

квартиру Ренаты, покуда не уляжется его любовный приступ.

— Понимаете, — заключила Зиглинда, — мне казалось, это нужно просто пережить, и как можно скорее — как операцию.

И засмеялась, будто кто-то ей только что рассказал забавную историю. Ата и Райнер тоже рассмеялись, а я в это время пыталась найти в Зиглинде — та всегда мне была симпатична — что-то общее с учительницей Перленберг.

— Он еще спросил, правда ли я думаю, что лучше ему переехать к Ренате, и я подтвердила: да, да, обязательно переезжай! Что уж делать, если ты так влюбился! Даже вещи ему собрала. — Тут Зиглинда от смеха поперхнулась супом и откашливалась, пока у нее по лицу не потекли слезы.

Не знаю, думала ли я уже в тот вечер то, что мне теперь кажется, будто я думала, ведь сейчас мне представляется невозможным тогда об этом не подумать. Зиглинда едва не задохнулась от смеха, хотя Ата хлопала ей ладонью между лопаток, острыми крылышками выступавших под тонкой тканью платья. Сдавленным голосом Зиглинда пыталась исторгнуть из себя число двадцать четыре, опять двадцать четыре, двадцать четыре, — пока ей, наконец, не удалось добавить

разъясняющее суть существительное: двадцать четыре года, на что Ата сказала:

— Да уж, это большой срок.

Так вот: не могу себе представить, что, перед лицом Зиглинды с ее стойкостью в этой отчаянной ситуации, я не задала себе вопроса: отчего, несмотря на все мои старания, во мне не пробуждается сочувствие.

Мне нравилась Зиглинда, как та ровная, суровая местность, откуда она тогда порой приезжала по воскресеньям и раскладывала у Аты на кухне бекон и ливерный паштет в консервных банках, завернутых в газету. Бекон мы ели с черным хлебом, густо смазывая хреном. Может, он в самом деле казался нам вкусным, а может — мы его жевали ради стонов и вздохов из-за остроты хрена. Мы стонали и вздыхали без всякого стеснения, каждый согласно своему темпераменту и каждый в своей тональности, мы восхищались друг другом, когда так смешно перехватывало дыхание и глаза наполнялись слезами. За стеной кухни была лестничная клетка. И никто-никто, услышав нас с площадки, не заподозрил бы в многоголосой вакханалии невинное развлечение с беконом и хреном.

Из-за одного только этого бекона я всегда с

удовольствием вспоминала Зиглинду, и у меня не было ни малейшей причины ради Зиглинды не пожелать той Ренате провалиться ко всем чертям вместе с массажем тела, который она при свете специальных свечей и под звуки жутковатой хоровой музыки предлагала ослепленному мужу Зиглинды. Но, несмотря на это, я приняла как запоздалое торжество справедливости, наполнившее меня удовлетворением и даже злорадством, тот факт, что муж Зиглинды переехал в крошечную квартирку Ренаты, а не отправился с Зиглиндой на осмотр Адрианова вала или еще куда-нибудь.

Ата обругала всех мужчин или что-то в этом роде, но ни Зиглинда, ни я с ней не согласились. Мы обе все еще надеялись.

Я и потом часто думала о Зиглинде. Еще до того, как Франц меня покинул, кто-то рассказал мне конец ее истории. Смерть в ней сыграла существенную роль. То ли муж к ней вернулся, а Рената умерла. То ли он не вернулся, и умерла Зиглинда. А муж, если мне память не изменяет, все-таки не умер. А может, и умер.

Позже, когда у нас с Францем все решилось, я желала Зиглинде возвращения мужа, хотя вовсе не была уверена, что ей стоит этого желать, пото-

му что в тот вечер у Аты, когда мы прикончили суп и открыли последнюю бутылку красного вина, Зиглинда со свойственным ей померанским здравомыслием заявила, мол, теперь она хочет понять только одно: двадцать лет подряд она мучалась из-за экземы на ноге, но вот уже полгода, с тех самых пор, как ее бросил муж, пропала и экзема — а почему?

Думаю, Зиглинда как человек была много лучше меня. Она не ставила мне в вину мою любовь к Францу, тогда как я злорадствовала по поводу ее горя. Если она еще жива, то она и теперь как человек лучше меня. Небось занимается внуками или правнуками, а то, если сил хватает, ходит за покупками для соседей, что-нибудь им варит, в то время как я лишь смутно вспоминаю о дочери и понятия бы не имела, люди или мыши населяют соседнюю квартиру, если б не слышала иногда сквозь стены музыку и человеческие голоса. Всю свою жизнь я слишком верила в природу, чтобы быть хорошим человеком. Мне никогда не удавалось восхищаться картиной, изображающей море, пусть бы даже кисти Клода Лоррена, больше, нежели самим морем, и природа вообще, включая человека, мне всегда казалась непревзойденным произведением искусства, не

говоря уж о техническом ее гении. Даже самый одаренный специалист по статике никогда бы не смог выдумать скелет брахиозавра, если бы сама природа не дала ему образца. Все — подражание, от электрической розетки до микрочипа, даже колесо — подражание: без шара не было бы колеса.

Я и сегодня не могу не пугаться при виде истекающего кровью животного и не могу не думать, что во всех нас текут одинаковые соки, что все мы рождаемся, повиснув на пуповине, и наконец, что всех нас зачали одним и тем же способом. Микрокосм — мистерия в себе. Я никогда не могла забыть о животной своей природе. И чем старше становилась, тем меньше утешения находила в самой цивилизации, хотя это вовсе не свидетельствует о моем презрении к ней, — так человек нисколько не презирает челюсть, если у него выпали зубы.

Относительно ценности животного начала в человеке мы с Францем так и не смогли прийти к единому мнению, что казалось весьма странным, поскольку мужчины мне всегда представляются более близкими к животным, нежели женщины, хотя бы из-за сильного своего тела и сохранившейся на нем шерсти, но главное — из-за развитых инстинктов. Франц пытался это опро-

вергнуть. Присущие женщинам инстинкты, по его наблюдениям, обретают полное выражение в производстве на свет потомства. А кроме того, роль покрытых волосами и зверски сильных обладателей инстинктов в развитии цивилизации несравненно значительней, нежели роль женщин с их персиковой нежной кожей. Тут возразить было нечего, и, возможно, тут-то и кроется объяснение: Франц просто считал все это устройство менее сложным, чем я.

Зиглинда принадлежала к тем людям, кто умеет любое явление или жизненную ситуацию вернуть назад, к природе, относясь ко всему окружающему как к Богом данной реальности. Как ласточки строят гнезда из магнитофонной ленты, коли таковая им попадется где-нибудь под открытым небом среди травы и веток, как кошки в квартире начинают за отсутствием покрытых корою стволов использовать для оттачивания когтей мебель, так люди, подобные Зиглинде, умеют найти теплую пещерку для себя и малышей как в блочном доме, так и в глинобитной хижине или во дворце. Улица представляется им столь же естественной, сколь и лесная тропа, а кусок мяса в вакуумной упаковке из морозильника в супермаркете будет принесен домой как

только что отстреленная дичь.

Наверное, люди, выросшие в деревне, осваивают в жизни иные и более жесткие законы, в то время как городские дети, только научившись видеть и в колясках путешествуя по улицам, познают всю шаткость и непостоянство жизни, все дела рук человеческих, далекие от творения Божьего. Когда я родилась, шла война, и если бы она продолжалась до моей смерти — допустим, ранней, — я считала бы ее естественным состоянием мира, как мы с Гансиком Пецке считали отравленных крыс совершенно нормальными игрушками. Позже я, как и большинство людей, стала бояться крыс. Впрочем, крыс, наверное, боялась и Зиглинда.

Вполне возможно, что я давно забыла бы про Зиглинду, если бы в ту субботу, за два-три дня до возвращения Франца с Адрианова вала, не встретилась с Атой и если бы я не радовалась несчастью Зиглинды, потому что не радовалась счастью жены Франца.

Кто знает, отчего мы одно забываем, другое помним. Не исключено, что я так хорошо помню Зиглинду из-за безумного договора, который без нее не заключила бы с Райнером, и Франц вследствие этого меня бы, наверное, не бросил.

Райнер за несколько недель до встречи у Аты покинул после пятнадцати лет брака семейный дом в Бад-Хомбурге и вернулся в Берлин. Как он сказал — без всяких особых причин, а может, и оттого, что до самого конца странной эпохи считал невозможным уйти от жены: Анке, уроженка Дюссельдорфа, в момент знакомства училась в западной части Берлина и освободила его из плена за стеной. Заплатив организации по помощи беженцам деньгами из бабушкиного наследства, Анке добилась того, что Райнера вывезли в багажнике «мерседеса» под видом транзитного багажа из Берлина в Гамбург, где она его ждала в квартире подружки с несметным количеством бутылок охлажденного шампанского и огромной миской креветочного салата. Познакомились они на каком-то дне рождения и сразу друг в друга влюбились. Но позже, как рассказывал Райнер, он стал догадываться, что на масштабы его влюбленности оказала существенное влияние сама перспектива бегства, пусть пока и очень смутная. И уж точно, что изначальная возможность вытащить его с Востока, как он сам это называл, придавала Анке красоты в его глазах, и голос ее делала многобещающим, и движения волнующими.

Потом, когда первая страсть уступила место нежности, по сути братской, Райнер запретил себе взращивать желание с нею расстаться — из чувства благодарности, но и не без мысли о грехе, в случае если подтвердится его подозрение, будто он влюбился в Анке преимущественно из-за ее спасательского потенциала. Так продолжалось до того дня, когда закончилась странная эпоха.

— С тех пор, — закончил Райнер, — я и сам свободен, и за будущее ничего ей не должен. Я теперь свободный человек.

— А что Анке? — спросила Ата.

— Ну да, Анке, — Райнер неуверенно взглянул на Зиглинду, а та молча уставилась в пустую глубокую тарелку, затем он взглянул на меня и почувствовал искомое одобрение.

— Желаю счастья, — сказала я.

Обе истории — это мои истории. Анке и Райнер — такой же гомункулус без права на существование, как Франц и его мелкая жена-блондинка. Анке хитростью похитила мужчину, вовсе не ей предназначенного. Как я не могла встретиться с Францем из-за того, что полоумные бандиты возвели между нами стену, так и другая какая-то женщина недалеко от меня вынуждена жить без Райнера, ведь его украла Анке, выкупила на

денежки из бабушкиного наследства. И если Анке несчастлива теперь, так только из-за того, что десятилетиями жила в счастье, добытом обманом. Вот так я тогда про это думала.

Райнер повез меня домой. Он работал в каком — то агентстве, то ли рекламном, то ли музыкальном, то ли туристическом, и денег у него явно хватало, если уж он их выбросил на ненужно дорогую машину. Вид у него был такой, словно он целые дни занимается спортом или по меньшей мере бегает трусцой.

Я поинтересовалась, помнит ли он, как мы выкрали Парцифаля.

И он ответил, что после бегства в багажнике похищение Парцифаля — лучшее приключение его жизни, жаль только — не помогло.

Не думаю, что я рассказала Райнеру про смерть доктора Ганса-Курта Вайера.

— А сейчас ты способна украсть собаку? — спросил он.

— Теперь уже — да.

В пивнушке на площади Кольвиц, где, кроме нас, я не заметила ни одного человека старше тридцати, мы выпили еще по бокалу вина. Я вспомнила Франца: с ним я не чувствовала себя старой еще и потому, что мы всегда встречались

только наедине, в моей квартире. Я все время думала про Франца. Сидя с Райнером в пивнушке, я вспоминала кожу Франца, особенное ее тепло и что-то еще неописуемое, повергавшее меня — стоит дотронуться — в состояние немого блаженства. Моя новорожденная дочь прекращала кричать, как только ее опускали в воду той же температуры, что человеческое тело, и с молчаливым неземным удовлетворением смотрели на мир ее пока полуслепые глаза. Должно быть, вспоминала о надежности пребывания в материнских околоплодных водах. А о чем могли напомнить мне объятия Франца? Не знаю, разве только о рае.

Был час ночи, а в Карлайле или Брэмптоне, где Франц лежал сейчас рядом с женой в постели, — два часа. Франц раздет, рукой обнимает спящую жену. Двумя-тремя часами раньше он, верно, обнимал ее обеими руками, целовал ее глаза, рот, крошечную грудь, а потом — возможно, тут мелькнула и мысль обо мне — коленками стал раздвигать ее ноги. Я спросила Райнера, не хочет ли он зайти ко мне. Вообще-то я чувствовала себя староватой для того, чтобы так запросто отправиться в постель с едва знакомым мужчиной, — по крайней мере, я, кажется, опасалась

показаться ему староватой. Но все-таки мы с Райнером когда-то в молодости вместе выкрали собаку, а еще — и это оказалось решающим — в этот вечер нас объединила безоглядность искателей счастья. Я выговорила Райнеру право покинуть Анке, и он уж знал — почему. Но почувствовать я ничего не смогла, кроме того, что Райнер — не Франц, и радость от объятий состояла для меня именно и только в том, что я его обнимаю, и пока Франц лежит голый рядом с женой, я сама лежу голая под мужчиной и наконец делаю то, что Франц делает со мной каждый день. И я воображала, как расскажу об этом вечере Францу.

* * *

После звонка из Ньюкасла Франц не появлялся. Я почти не выходила из квартиры. То ли отпуск взяла, то ли бюллетень, сидела часами у телефона и ждала.

Чем дольше ждала, чем чаще себе представляла, как Франц, просчитывая каждый шаг, подобно спортсмену, когда тот, разбегаясь перед прыжком в высоту, старается не пропустить точку отталкивания, войдет в мою квартиру, — тем меньше я верила в возможность его возвращения, хотя

ничего, совсем ничего другого не делала — только ждала.

В воскресенье, когда Франц обещал вернуться из поездки, я не вылезала из постели. День таил в себе столько опасностей, что я решила противостоять им лежа, так сказать — сдавшись без борьбы, укрывшись пуховым одеялом. Я боялась свидания не меньше, чем отмены свидания. Знала: что-то кончилось, остается это только доказать. Знала, но не хотела знать. Слишком много я увидела ночами в Нью-Касле и Хейдон-Бридж, Брэмптоне и Карлайле.

Позвонила Ате, или Ата мне позвонила со словами, что после долгих размышлений хочет предупредить: чего бы я ни ждала от этого мужчины — все равно не дождусь, ведь этого не дождешься ни от кого на свете и никогда, а значит — от Франца тоже.

Но что там знает Ата, двадцать или тридцать лет назад вывесившая над кроватью листок, где записано: «Если бью — то я, если бьют — то тебя». Нет такого на свете? А если есть? Но она добровольно от этого отказалась, желая избежать всего-то нескольких ударов.

Я молчала. На другом конце провода слышался только звук жующих челюстей, отвратительно

усиленный телефоном, и меня это возмутило.

— Ты что там ешь?

— Куриную ножку.

— А ты не думаешь, что смешно жевать куриную ножку и давать мне разъяснения о тщетности любви?

— Правда, про тщетность я не сказала. Зато подумала.

— Ты считаешь, большая любовь — это гладкая кожа и юношеская стать, а такой старой карге, как я, надо бы, пожалуй, держать себя в руках, ведь любовные гены предусмотрены внутри нас только с целью дальнейшего размножения, то есть в моем случае речь идет о бреде или атавизме. И что мужчина, если в него можно так влюбиться, непременно извращенец или охотник за наследством — хотя и это не ко мне, у меня-то нет никакого наследства. Вот как ты думаешь.

Ата рассмеялась:

— Ты сама так думаешь и другим приписываешь.

— Иногда, — оборвала ее я.

— Я часто себя спрашиваю: что заставляет взрослых людей добровольно продаваться в рабство? Наверное, ты боишься свободы.

— Ата, — ответила я, — есть не только Пенфесилея, есть еще и смиренная, но не менее упрямая Кетхен из Гейльбронна. У нее то же самое: «Завоевать тебя иль умереть». Эти слова я услышала от тебя.

— А я тебе говорю: не можешь ты завоевать.

— Но ты-то, ты что завоевала?

— По крайней мере, я не утратила разума.

— С сумасшедшими и влюбленными не спорят.

— Это кто сказал?

— Это русская пословица. И вообще я жду звонка Франца.

Ата заявила, мол, любовь — это вопрос веры, что-то вроде религиозного фанатизма, а я на это ответила, дескать, любовь — это последний остаток дикой природы, а человек со всем установленным им же порядком только и старается ее приручить. С тех пор, как я полюбила Франца, я перестала спрашивать себя каждый день, зачем живу на свете и зачем однажды умру.

— Ты просто боишься старости, — отрезала Ата.

Не могу вспомнить, чем закончился наш разговор. Наверное, мы его просто прекратили, ведь я ждала звонка Франца и не хотела занимать

телефон. Утверждение Аты, будто любовь — это вопрос веры, часто занимало меня впоследствии. Может, Ата и права, и всякое признание нашей природной сущности — вопрос веры. Но и тот, кто оспаривает власть природы над человеком, заявляет лишь о своей вере, выступающей в обличье неверия.

Франц позвонил в три часа дня, на час раньше, чем я предполагала. До того, несмотря на жару, я лежала в постели, зарывшись в пуховое одеяло, и бесконечно воображала одни и те же десять секунд вот в такой последовательности: коридор, дверь, Франц, руки Франца, рот и эта самая кожа. И опять сначала: по коридору, к двери, на этот раз торопливый вход Франца в квартиру, его кожа, влажная из-за летней жары. Подбирала и следующие картинки: мы с Францем за столом, Франц с гитарой, мы с Францем среди хищных растений. А еще фразы, мы же произнесем какие-то фразы, хотя бы слова. Но вместо этого опять коридор, дверь, Франц, кожа. А что дальше — я не знала.

Он пришел в четыре. Сто раз я воображала, что стрелой лечу по коридору. А пошла так медленно, словно не хотела идти. Франц развернул бумагу, вот цветы — синие ирисы и ромашки. Выглядел как все, вернувшись из отпуска: загорелый,

отдохнувший. Меня задело, что он рассмеялся. Смеялся, как будто не подвергал меня двухнедельной пытке, не бросил меня в Берлине, чтобы добровольно отправиться к Адрианову валу с другой женщиной и ночь за ночью погружаться в нее, как это делает со мной, как будто не он называл меня варваркой, а потом исчезал и не звонил. А теперь еще смеется с видом освободителя.

Поставила цветы в вазу. Франц настоял на том, чтобы прежде я срезала кончики стеблей. Принесла вино и бокалы. Мы не обнялись. Размышляла, что делать с ответом Франца на вопрос, как он себя чувствует, — уж если я таковой задам. Он попытается справиться с двусмысленностью ситуации, то есть: «Теперь опять хорошо», — из чего мне следует сделать вывод, что прежде, без меня, ему было плохо. Или он скажет: «По-моему, все хорошо», — и это значит, что он радовался нашей встрече, но из-за моей полной упрека сдержанности его радость оказалась напрасной. Первый ответ я сочла бы ложью, ведь он не прервал поездку, ведь он не звонил мне каждый день и каждый день не писал, ведь он выглядит загорелым и отдохнувшим, а не бледным и замученным, как я, ведь я вообще слишком уж много знаю об этой поездке. Второй ответ меня бы возмутил, ведь он

содержал упрек из-за кислого моего настроения. А может, Франц просто скажет, что поездка была удачной и станет описывать мне путь из Эдинбурга в Карлайл через Нью-Касл, известный мне во всех подробностях. Не было ответа, какой я бы приняла. Франц набил трубку, коротко и беспомощно вздыхая. Наверное, он тоже осознавал рискованность самых простых вопросов. «Ну, как ты?» — «Плохо». И он вынужден был бы спросить почему.

Мы долго молчали, а потом он поведал, что даже вещи не успел распаковать, а сразу сбежал ко мне под каким-то сомнительным предлогом.

Понимая, что слова Франца сравнимы только с канатом, брошенным в пропасть ради моего спасения, я и их сочла недостойными для высказывания. Ему приходилось лгать, чтобы прийти ко мне, а у кого-то были права на выслушивание этой лжи — смириться с этим было невозможно. А согласиться с тем, что Франц принадлежит мелкой блондинке, и восхищаться изобретательностью его лжи — это было невыносимо.

— Ну и что, она твои вещи сама распакует, — не сдержалась я, а Франц накинул на плечи пиджак, бросил на меня потухший, серый взгляд и пошел к двери. И только после этого мы обнялись.

Впервые в жизни мы вот так лишились дара речи, будто попали в петлю: чем сильнее пытаешься вырваться, тем крепче она сдавливает шею. Я-то знала об опасности, но сама к ней рвалась. Вот сколько я тут сижу, лет пятьдесят, а может, пятнадцать, все продолжаю себя спрашивать, отчего я не сумела принять поездку Франца к Адрианову валу так же, как дождливое лето, как болезнь или какую-либо иную нескладицу. Или так, как я принимала тот факт, что в половине первого ночи он вставал с моей постели, намереваясь заснуть в другой постели со своей женой. Но возможно, что и без поездки все случилось бы так, как оно случилось, возможно, период чистой благодарности миновал. Во всяком случае именно с этим объяснением я согласна. Период чистой благодарности — это первая фаза любви, наверное, всякой. Другому человеку удается свершить наше превращение. Свойства, о которых мы догадываемся, но которые таятся в нас под спудом, непробужденные, в минуту влюбленности вытесняют все остальное, с чем мы свыклись. Мы сами себя не узнаем. Мы становимся красивее, мягче, мудрее. Мы освобождаемся от уныния и недовольства. Мы в состоянии простить злейших врагов. Каждое дерево, улица, минута озарены

нашим счастьем, и мы дивимся лишь теперь раскрывшейся красоте. Мы чувствуем себя заодно с небом, дождем, ветром. Наконец-то мы отдаемся этому миру и наконец-то не принадлежим ему. Когда я встретила Франца, неделями в моей голове стучали, как сердце, строчки:

Казалось мне, будто небо земле поцелуй подарило:

Земля в расцветающей дымке мечтает о том, что было.

Душа моя, крылья раскинув, летит над цветущей землей,

По высям и дольним просторам — как будто спешит домой.

Человеку, совершившему чудесное превращение, сделавшему нас такими, какие мы теперь и какими всегда хотели стать, мы благодарны отныне и навеки, так благодарны, что и не думаем ничего скрывать, а надо бы. Мы намерены служить ему безусловно. Мы жизнь бы отдали за чудо, свершенное над нами. И не спрашиваем, почему именно он это чудо совершил. Он — и всё тут. Мы переписываем нашу жизнь, ибо только теперь раскрылся ее сокровенный смысл: мгновение встречи с ним, тайно именуемым нашим

Творцом, ведь прочувствованное нами считаем божественным, и за долгие годы поняв в любви все, что могла понять, я уверена: из всех чувств, на какие мы способны, именно это чувство — подлинное.

Пока что-то не произойдет. Мелкое, незначительное, но и его достаточно для испуга и для открытия, что мы беззащитны. Почему-то опоздал, почему-то не позвонил, да еще случайно попалась фотография. Так начинается период страха. Одного часа, когда чувствуешь предательство, довольно, чтобы понять: мы в том самом положении, которого больше всего и боимся. Одному покажется, будто он на цыпочках стоит на острой вершине утеса, едва касаясь земли и воздев руки к небу, и любое дуновение ветра может столкнуть его в бездну. Другой обречен бежать по скользким плиткам бесконечного бассейна и на каждом шагу падать под отзывающийся эхом хохот невидимых зрителей. А сама я находилась в круглом зале с сотней закрытых дверей. У каждого сбывается свой кошмарный сон. Мы предоставлены сами себе.

Но любимый приходит: с опозданием, но приходит. Телефон сломался — вот и не позвонил, а фотография вообще значения не имеет. Чего

мы боялись, то не произошло, но подозрение, что все — таки это могло произойти, уже нас не оставляет. Когда Франц сказал, что ему надо уехать, — пророчество исполнилось.

И только осознав, что Франц не вернется, я снова стала ему благодарна. У меня снова есть выбор. Все эти годы я хотела только одного: сидеть у себя в квартире и любить Франца. И даже начни я рыдать по нему, на что уйдут долгие месяцы, если не годы, — это все равно моя свободная воля.

* * *

Красивый, как бледнокожий зверь, Франц лежит среди хищных растений. Касаюсь его кожи, а кажется — коснулась себя. Иногда я вообще не различаю, где я, где он.

— Так что, я варварка?

— Не знаю, возможно.

— Все, кто не римляне, — варвары?

— Для римлян все остальные — варвары.

— А ты римлянин?

— Да, ясное дело.

— А я?

— Не знаю, может, наполовину.

Франц не знает, как вычисляют римлян — по матери или по отцу, но сам считает, что достаточ-

но просто быть такими, как они.

На несколько часов нам удалось целиком отдаться мистерии наших тел. Обоюдно заверяли друг друга в уникальности, и еще Франц сказал, что за исключением первой любви — а может, и без исключений — он никакую женщину не любил, как меня. А я сказала Францу, что вообще без него жить не могу, а он ответил, мол, как это хорошо, когда можно откровенно сказать о невыразимом, да в это еще и верить. Покрывая поцелуями его нежную, как у девушки, ложбинку между нижним ребром и бедренной костью, я все-таки решила узнать, отчего являюсь варваркой в глазах Франца.

Его замечание о биографе императора Адриана, наверное, задело бы меня меньше, если бы культурные различия между людьми, чей жизненный путь пришелся на странную эпоху, и всеми остальными — теми, с кем они вдруг стали жить вместе, — не являлись объяснением того, что обе группы с трудом друг друга понимали. Кто тогда не жил, тот обычно представлял странную эпоху как вневременное пространство, и попав туда, люди на десятилетия будто бы отрешились от общего мирового развития. Сама я такие речи на фоне гигантского своего друга под стеклянной

крышей музея особенно всерьез не принимала, тем более что различия — в зависимости от групповой принадлежности одни их стеснялись, другие превозносили — были столь ничтожны, что не стоили и разговора.

Во всяком случае, они были не разительней, а просто непривычней различий между жителями маленьких городков и жителями больших городов. Все, что отличало нас с Францем друг от друга, могло так же корениться в его провинциальном прошлом, как и в моей странной эпохе. И все-таки Франц был уверен, что мне недостает большего, нежели только знания духовных гимнов. Когда я спела для него гимн Сталину, он заподозрил меня в перманентной тяге к измене, и точно так же он в бесшумном, неприметном моем разводе старался разглядеть падение христианских устоев, присущее странной эпохе. Важна оказалась не моя верность ему, Францу, а моя неверность мужу.

О периоде после поездки Франца к Адрианову валу я вспоминаю без удовольствия. Меня это утомляет. Обычно я на этом месте прерываюсь, предпочитая вспоминать все с начала. Таким образом, данная часть моих воспоминаний вторична и менее точна: многое позабылось в тот

самый момент, когда это происходило, или сразу после. Есть дни, от которых в памяти сохранилась одна — единственная картинка. Вот Франц прислонился к красной кирпичной стене, на нем темно-синяя рубашка с открытым воротом, над правым ухом торчит, как перышко, прядка волос. Франц смотрит на меня против солнца, глаза полузакрыты, и указывает пальцем вверх. Не помню, на облачко ли хотел он обратить мое внимание, на окошко ли высоко на церковной башне, — помню только, что он так стоял и что было воскресенье. Наверное, мы потом поссорились. Да, я устала, но на этот раз какой-то приятной усталостью.

Хронологию событий после возвращения Франца я восстановить не могу, да и не имеет она значения. Ведь сгори наш дом со всем хозяйством — что за важность тогда, в какой очередности обращались в пепел мебель, картины, книги и все прочие вещи, материально воплотившие в себе нашу жизнь? Собственно, ничего не переменилось. Франц так же приходил ко мне два, а то и три раза в неделю, а поскольку реорганизация нашего музея, где Франц отвечал за отдел перепончатокрылых, все еще не была завершена, то всегда находилось объяснение и для воскресных

встреч, не вызывавшее раздражения его жены. И несмотря на это, счастье, охватившее меня столь неожиданно и крепко, обернулось ровно таким же несчастьем. С тех пор, как Франц отправился в поездку с женой, — так они путешествовали и двадцать, и двадцать пять лет назад, — но главное, с тех пор, как я увидела его мимолетную и нежную улыбку, я усомнилась в его любви. Постоянно стала требовать доказательств, но они успокаивали меня ровно на то время, в течение которого Франц их произносил. Только он сообщил, что любит меня, как мне через две минуты надо было услышать это снова. Может, мне казалось совершенно нормальным, что мы тогда часами повторяли друг другу одну и ту же фразу. Или, того хуже, я отвечала на слова любви ироническим смешком, словно уличающим его во лжи: чем-нибудь вроде «ну-ну…».

Нельзя ему было от меня уходить. Нельзя ему было ночь за ночью ложиться в постель к своей жене-блондинке, особенно тогда, когда мы словно сплетались в единое живое растение, когда мы оба источали одинаково безудержный жар и запах спермы, когда на его руках еще оставался запах моих волос и кожи. Надо было ему бросить жену, как я бросила мужа, точнее, как он неза-

метно исчез из моей жизни и ему уже некого было бросать.

Я потеряла сон. Меня преследовала нагота женщины, раздвинутые бедра, раскинутые ноги.

Ата считала меня ненормальной. В конце концов, Франц уже немолодой человек, и при всем уважении к его достоинствам трудно поверить, чтобы он жил столь изматывающей двойной сексуальной жизнью.

— Ты получаешь лучшее от этого мужчины, — уверяла Ата. — Он тебя любит, он тебя уважает, хочет тебе нравиться, зачем же тебе остальное? Непременно надо гладить рубашки, терпеть его плохое настроение, превозносить его поступки и приглашать на ужин его шефа? Радуйся, что все это делает другая. Спит он с ней, но спит — с тобой.

— Я хочу жить с ним, — говорила я Ате.

«Хочу жить с тобой», — это я говорила и Францу. А он отвечал: «Да, вот было бы хорошо», — или «Да, я тоже хочу», — но в серо-голубых его глазах проглядывал оттенок решимости, означающей: в этом мире не все происходит так, как того хочу я или он.

Он вырос без отца. В нашем поколении многие дети выросли без отцов, а я — хотя отец у меня

имелся — была бы очень благодарна судьбе за иную участь.

Но в случае Франца безотцовщина была не освящена смертью, а напротив, заклеймена выживанием. Отца, до войны учителя греческого и латыни в одной из ульмских гимназий, семья Франца потеряла не в общей могиле под Сталинградом и не в сибирском лагере для военнопленных, а в объятьях Люсии Винклер, учительницы немецкого и французского, в чью квартиру тот вселился после недолгого английского плена, впоследствии также сочетавшись с ней браком. Никто и заподозрить не мог в нем, дотоле серьезном человеке консервативных устоев, способности на такую подлость, на такое предательство, как называла это мать Франца. Во время развода он разъяснил, что при виде разрываемых на куски тел фронтовых товарищей, при виде зверской их гибели, в постоянном ожидании собственной смерти, ему необходимо было зацепиться за картинку из жизни, и на таковой картинке у него появилась младшая коллега Люсия Винклер, вовсе не жена и — к вящему его ужасу — не дети, а именно Люсия Винклер. С тех пор он стал ей писать, та отвечала, и он поклялся: если выживет, то последует за видением, явив-

шимся ему на войне. По отношению к жене и детям он испытывает чувство вины, однако отнял он у них не более того, что они могли потерять со дня на день в течение шести лет.

— Но это неправда, — рассказывал Франц. — Мать постигла беда, которая в те времена не вызывала сочувствия других. Даже вдова какого-нибудь пьяницы могла задним числом уравновесить мучения супружеских лет, оплакивая погибшего мужа вроде бы по заслугам. Но та, у которой муж вернулся, да не к ней — со своей заурядной бедой, годящейся для мирных лет, не входила ни в число счастливиц, у кого пришли с войны мужья, ни в число военных вдов, требующих участия. Она даже не имела права носить траур.

Мать Франца устроилась продавщицей в галантерею. Об отце с тех пор говорить запрещалось. Небольшое наследство обеспечивало матери и троим детям скромное благосостояние, с учетом уроков игры на фортепиано для девочек и учебы Франца.

Франц, младший из троих, так похож был на своего отца, что родственники, если давно его не видели, растерянно отводили взгляд в сторону, тайком перешептывались или сокрушенно взды-

хали. Мать, наблюдая, как растет живая копия мужа, принесшего ей не только несчастье, но и общественный позор, и презирая с тех пор всех мужчин, с опаской следила за тем, чтобы ее собственный сын вдруг не попал в число забывших о долге предателей. И если девочкам следовало прежде всего запомнить, что мужчинам доверять нельзя, то Франца воспитывали плеткой отцовской вины: не будь как твой отец!

— Они следили за мной, — продолжал Франц, — причем все втроем. Только одна услышит историю про какого-нибудь неверного мужа, как тут же с угрозой в голосе пересказывает за столом. В конце такого мужа обычно постигала болезнь или импотенция, или новая жена погибала, или ребенок рождался калекой. «Нет на них благословения», — каждый раз говорила мать, глядя на меня.

Матери Франца, когда муж к ней не вернулся, было тридцать пять. Замуж она больше не вышла, хотя такая возможность, по мнению Франца, ей представлялась. Не хотела избавлять отца от чувства вины, — так Франц это объясняет. Тот жил через две улицы и ни в коем случае не должен был думать, будто она утешилась после того горя, какое он ей причинил.

Франц впервые пришел к отцу, когда был уже взрослым.

— Лет ему было столько, сколько мне сейчас, и похож он был на меня сегодняшнего. Вообще-то он мне понравился, но простить я его не простил. Он бы и позаботился о детях, но мать этого не хотела, а ее желания он уважал. Помню, как он — наверное, чтобы на меня не смотреть — набивал трубку. И дня через два я тоже купил себе трубку, первую. Люсия Винклер подала нам чай. Положила руку мне на плечо, довольно крупную, твердую руку, и сказала, мол, она счастлива, что хотя бы кто-то из детей наконец пришел. Засмеялась, но слезы стояли у нее в глазах, вот это мне понравилось — что она может смеяться и плакать одновременно.

Учиться Франц поехал в Тюбинген, а в Ульм возвращался только по выходным. Отец умер от инфаркта вскоре после того, как ему исполнилось шестьдесят.

— Я был бы рад спросить у него, не пожалел ли он о своем решении.

— В жизни можно пропустить все, кроме любви, — заметила я.

— Значит, моя мать пропустила все, — подтвердил Франц. — К концу жизни она стала жесткой

и завистливой. А он, может, и был счастлив, но за ее счет.

— А если бы он не ушел, то счастлива за его счет была бы она. Но потом ты все-таки простил отца?

— Он умер, и мать умерла. Была война. Может, его жизнь закончилась на войне. Поэтому позже он смог начать другую. А у нее были дети.

— Хочу жить с тобой вместе, — говорю я Францу.

— Да, вот бы хорошо, — отвечает он.

Мы с Францем лежим среди хищных растений. Половина первого, Франц спрашивает, который час, и я говорю, что половина первого. Только мы договариваемся, что Франц придет ко мне в среду или в субботу, как сразу начинаем бояться, что в ту самую среду или субботу опять-таки наступит половина первого. С половины двенадцатого или с двенадцати мы оба только и думаем о неизбежном, затем в темноте звучит осторожная его фраза: «Скоро пора к себе». С каждой новой неделей он произносит эти слова все тише и тише, вот уже просто шепчет, вот уже и шепот прерывается. И все-таки он говорит это всегда. Чем тише, чем испуганней, тем яростнее я нападаю: «Не уходи, сегодня не уходи, хоть раз не уходи!» Рыдаю, ме-

чусь, запираю дверь. Но Франц уходит. Всегда. По коридору к двери он идет быстро, втянув голову в плечи, как при грозе.

Однажды он заснул. Надеюсь, молюсь, чтобы он не проснулся до завтрашнего утра, тоже пытаюсь уснуть, чтобы не пришлось его будить. Лежу тихо, едва дышу, но тут он все-таки спрашивает, который час, и я отвечаю, что половина первого.

Неумолимая твердость, с какой Франц в половине первого отрывал свое тело от моего, одевался, набивал трубку — он курил ее в машине, чтобы истребить сохранившийся мой запах табачным дымом, — эта твердость всякий раз повергала меня в состояние яростной беспомощности. Только одна у меня была мысль: как мне избавиться от этого моего положения, я больше не хочу оставаться одна. «Завоевать тебя иль умереть». Теперь уже не помню, что я тогда только думала, а что по-настоящему делала. Если вовремя не остановиться, то вспомнятся события, о которых не хочется и думать. Многое так ясно стоит у меня перед глазами, что нельзя усомниться в достоверности происшедшего, но ведь это невозможно! Не могла я при съезде с автобана на Хеннигсдорф врезаться в опору моста, хотя точно помню: было. Осенью, когда только

— только стемнело. Дорога пуста. Хеннигсдорф — тысяча метров. Из Хеннигсдорфа 17 июня 1953 года тысячи бастующих литейщиков двинулись на Берлин. Жители Панкова рассказывают, что асфальтовое покрытие на шоссе 96 начало вибрировать от их шага, как только они дошли до Ораниенбурга. Я нажала на газ и с открытыми глазами врезалась в правую опору моста.

Или, к примеру, тот вечер, когда я отравилась. Франц по обыкновению ушел в половине первого. Я сидела в постели, рыдая и сжимая в кулаке пуговицу его плаща. Допила вино, сначала из бокала Франца, потом из своего. Аты не было дома, или она не подходила к телефону. Я сняла халат, встала перед зеркалом в коридоре и при безжалостном верхнем свете принялась рассматривать свое тело, красноватые мраморные прожилки на животе и на бедрах, мягкую, в последнее время как-то чересчур тяжелую грудь, напоминавшую тяжелый розовый бюст моей матери, обмякшие мускулы выше коленей. Ничего я такого не увидела, способного укрепить меня в мысли, что действительно любима Францем. «Кто так выглядит, сам любить еще может, но его полюбить нельзя!» — мелькнуло у меня в голове, и тут я миксером смешала пятьдесят или шестьдесят

таблеток снотворного с апельсиновым соком и в несколько глотков проглотила комковатую массу. Потом, наверное, меня вырвало. Во всяком случае, наутро я проснулась вовремя и без обычной слабости. Конечно, смерти я не хотела, и уж совсем не хотела оказаться мертвой. Я хотела перемены своего положения. Все, что я тогда делала, или мне теперь кажется, что делала, подчинялось единственной цели — изменить свое положение. Поскольку не в моей власти было его улучшить, меня охватила жажда перемен, но этим я делала только хуже, — например, когда тем или иным путем устремлялась к смерти. Удачней собственной смерти мне представлялась, однако, смерть жены Франца, хотя я была хорошо осведомлена об опасностях на пути к исполнению этого желания. Ее смерти не должна предшествовать болезнь, способная вызвать сочувствие Франца или даже пробудить любовь к жене. Ни в коем случае это не может быть смерть, которая отяготит его чувством вины. Самоубийство — вот это дело, как и дорожно-транспортное происшествие, особенно если в такси. Но, увы, несчастный случай со смертельным исходом маловероятен. Вообще говоря, только падение самолета обеспечивало, с одной стороны, немедленную смерть, с другой

— оказывалось судьбоносным, что необходимо для освобождения Франца от ответственности. Но падение самолета не подчинялось моему воздействию, тем более что вынужденную смерть множества невинных людей мне на себя вешать не хотелось. Кроме того, жена Франца никуда не летала без Франца, и даже полети она вдруг одна, и даже упади самолет, и даже если Франц, не вынеся одиночества, ко мне бы переехал, — это ведь ничего не доказывает.

Я бы тогда не узнала, готов ли Франц, как я, взорвать все, казавшееся прежде надежным, в угоду своему порыву. Никогда бы я не отважилась сказать: ради меня. Нет, ради того, что важно мне в нем, Франце, а ему во мне, — иного, ради чего мы похитили Парцифаля, а Сибилла бросила свой магазин театральных костюмов; иного, увиденного отцом Франца под угрозой смерти в образе Люсии Винклер. После любой смерти жены Франц стал бы вдовцом, а вдовцу нужна новая жена. Признание не достигло бы его ушей. Возможно, для Франца ее смерть оказалась бы решением всех вопросов. Не знаю, желал ли он этого. Трудно мне это вспомнить. Память отказывает, как глаза отказываются смотреть на гнойную рану или лужу блевотины. Усталость

тихо закрывает мне веки, словно я умерла и кто-то хочет оказать мне последнюю услугу, — это движение я знаю только из кино. Вот так, с закрытыми глазами, я отыскиваю рядом Франца, серый плащ перекинут через руку, мы у брахиозавра. «Какое красивое животное», — произносит он, а я отвечаю: «Да, красивое животное». Но сегодня я хочу вспомнить все до конца, и это в последний раз. Отныне я прекращаю ждать Франца.

Осознав, что смерть жены Франца не поможет мне добиться признания, без которого все его уверения в любви утратили смысл, я прекратила поиски вариантов. Вместо этого я пустилась за ней в погоню. От Франца я знала, что она приходит домой от половины второго до двух. Если мне удавалось в это время на часок вырваться из музея, я добиралась до его улицы и ставила машину так, чтобы хорошо просматривался путь от метро. Франц жил на небольшой и по берлинским меркам очень тихой улице недалеко от Фазаненплац, причем по одной ее стороне шла ограда старого парка с его буками и платанами, так что обитатели великолепных квартир эпохи грюндерства, в том числе Франц и его жена, могли наслаждаться роскошным видом. Когда мы разговаривали по телефону и Франц открывал

окно, я слышала иногда щебетание птичек, гнездившихся в ветвях.

Она всегда появлялась вовремя, шла коротким и четким шагом в заданном направлении, всегда торопливо, словно впереди неотложные дела, а поравнявшись с соседним домом, лезла в сумку, всегда на правом плече, и сразу, ни секунды не порывшись, вытаскивала ключ. Однажды ей попалась навстречу соседка: несколько минут поболтали. Она была не из тех, кто хватает собеседника за руки, чтобы придать дополнительную выразительность своей речи, или доверительно к нему склоняется. Нет, она уж скорее держала расстояние. Даже не жестикулировала. Одна рука на пуговице пальто, другая на сумке у пояса. Смеясь, она чуть наклоняла голову и морщила нос, как маленькая девочка. Кроме этого смеха, не было в ней ничего особо неприятного. Но того, что я искала, что указывало бы на связь с Францем, что делало ее в глазах Франца единственной, — он ведь жил не с крупной брюнеткой или с какой-нибудь рыжей, а именно с этой мелкой блондинкой, чьи крошечные ножки бросались в глаза даже на улице, — того, что я искала, мне обнаружить не удавалось.

Я не покидала свой пост даже тогда, когда она

скрывалась в подъезде, а ждала, не откроет ли она окно, не выйдет ли вскоре из дому с корзиной для покупок. Бывало и так, что я на соответствующем расстоянии, как показывают в детективных фильмах, следовала за ней в супермаркет на Уландштрассе. Постояв минутку на улице, входила следом, примечая ее закупки для Франца и потом повторяя их для себя.

Не исключено, что я с ней однажды заговорила. Во всяком случае, я раз сто или больше замышляла именно такой поступок. Хотела попасться ей на пути случайно, когда она выходит из метро, представиться коллегой мужа, сообщив, что однажды видела их вместе, а вот теперь ее сразу узнала. У меня дела в этом районе, но выдалась свободная минутка, вот я и гуляю. А вдруг бы она, проникнувшись ко мне доверием благодаря моей осведомленности о жизни нашего музея и ее мужа, пригласила меня в квартиру Франца.

Не помню, сколько раз мы с ней разговаривали, сколько часов между половиной первого, когда Франц уходил, и половиной пятого, когда наконец слышен был ранний трамвай — а я засыпала только под звук утренних трамваев, — сколько безутешных ночных часов я сидела против нее, пытаясь разузнать то, о чем молчал Франц. Не

помню и того нашего разговора, который действительно был, не помню, чем он выделялся из всех прочих.

Но уверена, что выдуманные мною ответы мало отличались от ее собственных, вот разве только она, как и Франц, говорила «глядеть» вместо «смотреть», и обращалась ко мне со словами: «поглядите-ка», а я ей отвечала: «посмотрите, пожалуйста», и еще она, опять-таки как Франц, говорила: «к себе», а не «домой». Но зная, что она родом из окрестностей Ульма, я и это могла вообразить. Как я и рассчитывала, она пригласила меня в свой дом. Дверь в кабинет Франца стояла открытой, и в залитом солнцем помещении я увидела кроны деревьев в том парке, где обитали птички, не раз слышанные мною в телефонной трубке.

— Ампирный комод с интарсиями и витрину мы получили в наследство, — сообщила она.

Звучало это как оправдание, причем скорее как оправдание богатства, а не вкуса. Пили кофе из английских фарфоровых чашек с охотничьим узором; об английском их происхождении я сделала вывод, взглянув с обратной стороны на донышко, пока жена Франца ходила за молоком на кухню. Села напротив меня, оперлась подбо-

родком о левую руку, локоть левой руки — на ладони правой. Несомненно, она что-то такое обо мне думала. Ее манера себя вести напоминала мне поведение тех детей, которые стоят перед витриной в нашем музее так долго, что учитель, это заметив, не может не похвалить их за интерес и усердие. Какую картину я собою являла — мне это, конечно, неведомо, но ей, надо полагать, бросилась в глаза моя неловкость, и она приписала это искаженным в странную эпоху нормам общения или закономерному потрясению при виде их несметного богатства, — кто знает, но вела она себя так, словно у меня кровавая корка на лице и ей необходимо проявить мужество при виде таковой. Спросила, в каком отделе музея я работаю. А когда услышала, что я отвечаю за уникального динозавра, в глазах ее — так мне показалось — что-то промелькнуло. «Она давно знает», — поняла я. А та склонила голову чуть вбок, посмотрела на меня нескрываемо победоносным взглядом и сообщила, что в таком случае ей известно, кто я есть. Я мяла сигарету, чтобы руки не тряслись. «Вы — та самая женщина, — продолжала она, — которая назвала скелет динозавра красивым животным. Мой муж до такой степени был этим растроган, что передал

мне ваши слова в тот же вечер. Изумительно. Видите ли, вот такой непосредственности нам поучиться бы у вас. Мы же всех зверей на свете знаем. А вы еще можете радоваться скелету, как живому существу. Изумительно».

Сегодня мне кажется просто невероятным, что она действительно могла высказать столь дурацкое предположение: при мысли об этом на моих слепых глазах до сих пор проступают слезы. Ах да, слезы в глазах, прекрасное чувство: я уже несколько недель не плакала ни от горя, ни от радости. Конечно, может быть и так, что я позже все это выдумала: утверждение, будто нашу сокровеннейшую тайну, клятвенную формулу нашей любви, Франц в тот же вечер выдал ей как банальную городскую сплетню, потребовало от меня в тот момент полной сосредоточенности на выдохе и вдохе. Тело отказывалось втягивать в себя воздух, как уже было с Кати, самкой дельфина и исполнительницей знаменитых трюков, когда она покончила с собой, перестав дышать, потому что продюсерская фирма продала ее по окончании съемок.

Жена Франца рассказала, что как раз в последние выходные они с мужем ходили в музей и осматривали брахиозавра, причем оба замерли

в благоговейном молчании, представив себе это грандиозное животное во плоти и крови, в Тендагуру. «Тендагуру, верно?» — решила уточнить она, с вопросом в глазах взявшись за чайник.

«Да, — подтвердила я, — именно Тендагуру».

Франц со своей мелкой женой-блондинкой стоял на моем месте в музее. Не знаю, какие такие места на свете принадлежат Францу и его жене. Адрианов вал — вот уж точно, площадь Святого Марка, Виа-Венето, Трафальгарская площадь и Портобелло-Маркет, Бликер-стрит и вся Флоренция — пожалуйста, но вот квадратный метр у ног динозавра, под крошечной его головкой, несомненно принадлежит мне, мне одной.

Жена Франца аккуратно, до противного аккуратно, поставила на место чайник, тщательно разгладила складочку на скатерти и скрестила руки, раз уж их девать некуда, на коленях. И улыбалась. Не думаю, чтобы в ее улыбке был какой-то особый смысл. Возможно, со словом «Тендагуру» оказались исчерпаны все общие темы, так что знаком неуменьшающегося гостеприимства могла теперь быть только улыбка, но тогда я сумела разглядеть в ней только триумф. «Мы, мы с мужем, — говорила ее улыбка, — стояли на этом месте, ну, что скажешь, дорогая?»

Франц говорил, его жена не готова быть несчастной. Вот так она и сидела передо мной, мелкая, худая, уцелевшая. А меня охватило неукротимое желание врезать ей как следует, встать, медленно подойти и заехать по безмятежному ее лицу. Хотела ладонью почувствовать розовые ее пухлые щечки, хотела увидеть неописуемый ужас в ее глазах и плаксиво подрагивающий подбородок. Пусть она перестанет так улыбаться! Не думаю, что я действительно ее ударила. Вместо этого я произнесла какие-то слова. Возможно, я разъяснила ей комичность словосочетания «мой муж» и предложила впредь употреблять выражение «наш муж». Или просто сообщила ей, что люблю Франца и Франц меня тоже любит, и что только по ошибке судьбы или, наоборот, из-за мудрого ее предвидения моей нынешней свободы от плена странной эпохи, такая мелкая блондинка, как она, вылитая учительница Перленберг, могла оказаться спутницей жизни Франца. Ведь так и было задумано, сказала бы я, что он меня повстречает и полюбит. И в музей к брахиозавру он сводил ее ради того, чтобы попрощаться, чтобы на моем месте, где мы и встретились, попрощаться с нею.

Она уже не улыбалась, но я не увидела в ее лице

ни ужаса, ни отчаяния. Как по команде, в ее лице выключился весь свет, так что для стороннего наблюдателя любое проявление чувств скрылось в темноте. Глаза непроницаемы, губы крепко-накрепко сжаты. Только сила, с какой она сжимала и разжимала пальцы левой руки, заставляла подозревать некоторое возбуждение. Ни говоря ни слова, она вышла в кухню, вернулась со стаканом воды, протянула его мне и спросила, не вызвать ли такси, или я в таком состоянии все-таки отважусь вернуться домой на своей машине. Нельзя сказать, что это прозвучало невежливо, и мне опять захотелось как следует ей врезать. «Вы — чудовище», — сказала я и ушла.

Больше я об этой встрече ничего не помню. Только попытаюсь все вспомнить поточнее, как мне от напряжения становится плохо. Да тут и не надо никакой точности, тут и неточное — и без того ужасно.

Когда-то потом пришел Франц. Не могу сказать, было это вечером того же дня, или следующего, или еще позже. Бесконечный звонок в дверь вырвал меня из глубокого сна. Наверное, я наглоталась таблеток или вина выпила слишком много. Франц произнес только одну фразу, сто раз одну фразу: «Зачем ты это сделала?» Во всяком

случае, никаких других слов я не помню. Может, я ему ответила, может — нет, но это не имеет значения, потому что правды я не знала сама.

Позже, среди хищных растений, мною овладело тупое спокойствие. Подобно обезьяне, обхватила я Франца руками и ногами, и на миг мне показалось — прекрасное чувство! — будто я обросла шерстью, будто меня до самого лица покрывает плотная и короткая звериная шкура. Ткнулась коротким носом в ложбинку между его ключицей и шеей. Франц тихо дышал под сенью моего дыхания, словно хотел в нем укрыться. Так мы долго лежали молча. В такой час я хотела бы умереть. Франц, должно быть, чувствовал нечто подобное. И рассказал мне историю Паоло и Франчески: при виде их страданий Данте, когда Вергилий вел его по Аду, лишился чувств.

— На веки вечные, — говорил Франц, — обречены они, гонимые страшными порывами ветра, мчаться по Аду. Но они не выпускают друг друга из объятий. Несмотря на адовы муки, они продолжают друг друга любить. Отец мне об этом рассказывал, чтобы объяснить свою любовь к Люсии Винклер.

— А вот животные не попадают в Ад, — заметила я.

* * *

Позже я не раз пыталась понять, почему не обращала тогда никакого внимания на город. Видела, конечно, перекопанные улицы, кабели и трубы — они валялись повсюду, как гниющие потроха, видела краны, склонившиеся над домами, подобно скелетам динозавров, видела, что сами краски города меняются, как природа при смене времен года. Но о происходящем на той или иной улице, в том или ином квартале я понятия не имела. При этом никогда город не был мне так близок, как в те дни и месяцы. Я двигалась по предписанным мне путям, как капелька движется в струе воды, как световая частица движется в потоке света, я была камнем обвалившейся стены, я была так же вздыблена, как мостовые. И город, и я поистине сходили с ума, так можно сказать. О городе это говорила я, обо мне — Ата.

На нас нельзя было теперь положиться: ни на меня, ни на город. Мы не соответствовали привычному отношению людей к нам. Пути через город менялись ежедневно. Описывая завтрашнему гостю дорогу к своему дому, никто не мог быть уверен, что его сведения окажутся все еще верны в назначенный час. Нечто похожее пере-

живали люди в общении со мной. Я была не та, за кого они меня прежде держали. Перестала быть разумной и сдержанной, даже пунктуальной перестала быть, хотя именно пунктуальность как болезнь была свойственна мне всю жизнь. Я просто не умела иначе. Даже решив нипочем не приходить вовремя, я в лучшем случае не приходила раньше. Но с той поры, как я полюбила Франца, мне очень редко удавалось появиться где-то в назначенное время, причем сначала мне это было неприятно, потом безразлично, да и сам город предлагал бесконечные возможности найти оправдание. Улицы перекрыты, затоплены, завалены, забиты. Трамваи не ходили, или шли по другому маршруту, или не стыковались на пересадках. Город вступил в союз с ненадежными и непредсказуемыми — со мной. Поскольку безумие охватило нас почти одновременно, я считала рехнувшийся город совершенно нормальным, как пьяный не понимает опьянения другого, считая его счастливым созвучием собственной одурманенной души. А кто, собственно, разбирается в безумии? Свое тогдашнее состояние я могла бы считать и присущей мне от природы нормой, потому что следовала только мощнейшему внутреннему порыву, пе допуская никакого иного

принуждения. Уже тогда я себя спрашивала, случайно ли, что общий интерес к животному миру направлен у меня и у Франца на столь различные виды: мой — к вымершим одиночкам, его — к мелким и по одиночке нежизнеспособным муравьям, составляющим полноценный организм лишь в качестве племени.

Когда Франц рассказывал про разумное государственное устройство у того или иного вида, где каждая группа выполняет свое назначение — как наше сердце качает кровь, легкие дышат, почки очищают организм, — я задумывалась: а не ищет ли он подобной несомненности задач в человеческой, даже в собственной жизни, или дрожь восхищения в его голосе скорее имеет причиной угрозу, скрытую в этой мысли. Признаю, что для человека моей профессии это просто смешно, к тому же отчасти противоречит моему общему, скорее фаталистическому отношению к природе человека, — но генетически заложенная в муравьях диктатура меня всегда возмущала.

Жизнь муравьев устроена настолько разумно, что в ней нет места даже для минимальной потребности в эмоциональном разнообразии. Большинство историй, рассказанных мне Францем, я забыла. Но вот медовых муравьев — наверное, из-

за их имени — помню очень хорошо. Они живут в пустынях Южной Африки, Австралии и на юге Северной Америки. Период дефицита питания связан у них не с зимними холодами, когда обмен веществ замедляется и собственные жировые клетки могут гарантировать выживание. Нет, отсутствие пропитания вызывает засуха, вынуждая медовых муравьев активно заниматься заготовками. В короткий летний период они собирают нектар сахарного дуба и кормят им самых молодых работников, поскольку брюшко у тех особенно эластично и может растягиваться до размеров горошины. Заполненные до отказа муравьи висят рядком на потолках кладовых и в качестве сосудов ожидают того часа, когда другим понадобится их содержимое. Сотня муравьев в течение четырнадцати дней может питаться содержимым одного кормильца. Муравей-сосуд умеет исторгнуть из себя нектар, чтобы накормить остальных. А когда его внутренние запасы истощатся, он начинает жить обычной жизнью.

Хотя этот способ выживания медовых муравьев не приводит к смерти или, точнее, именно потому, что он не приводит к смерти, эта муравьиная история показалась мне из всех самой жестокой: ведь разумнее, чем у них, просто не

бывает. Поскольку мне нравится все, что логично, я постоянно думаю о том, отчего в связи с муравьями у меня в сознании часто возникает слово «нечеловеческий», а ведь по отношению к другим, значительно больше похожим на людей животным, я никогда бы его не употребила: это и парадоксально, и смешно — считать природу «человеческой» или «нечеловеческой».

Тут я не нашла ответа более содержательного, нежели мое нелогичное чувство. Муравьи дают нам образец государственного устройства, способного существовать в течение ста тридцати пяти миллионов лет или даже дольше. Но кому хочется жить так, как муравьи? А кому хочется погибнуть? Я-то решилась на гибель, и по утверждению Франца, это очень на меня похоже. Вечно я должна на что-то решаться. Никто от меня не требует, чтобы я жила, как муравьи, но я со всей страстью отказываюсь так жить, пусть даже ценой своей гибели.

* * *

С того дня, когда я подкараулила жену Франца у ее квартиры, когда вечером я обнимала Франца подобно обезьяне, я видела его только в музее, куда он приходил по делам, причем не чаще

одного раза в неделю, поскольку необходимое организационное переустройство как в смысле кадрового состава, так в смысле управления было почти завершено. Назначили нового директора, уволили нескольких сотрудников. Не знаю, почему не уволили меня, но это так. То ли я выполняла свою работу на совесть, как и двадцать лет назад, то ли в суматохе преобразований никто не заметил, что я ее не выполняю. Во всех поворотах и переворотах вокруг я принимала участие лишь в той мере, в какой они связывали меня с Францем или отдаляли от него.

Теперь, когда его жена обо мне все узнала, он на неопределенный срок должен отказаться от визитов ко мне — вот так он сказал. Мы сидели в саду итальянского ресторана в районе Моабит, где Франц не боялся встретить знакомых. Впервые за долгое время я вспомнила своего мужа, который сейчас в Помпеях или на Гималаях, а может, и в Берлине, но только не у меня. Порывом ветра на наш столик принесло цветочек липы, хотя пора цветенья давным-давно прошла. По-моему, я заплакала и спросила Франца, что же теперь будет, а он промолчал. Только тот миг, когда Франц провел кончиками пальцев по моей щеке, я помню прекрасно. Сквозь листву липы

солнечные лучики пробивались к его лицу и разжижали серо-голубой цвет его глаз.

Между той минутой и утром, когда все подходы к музею оказались перекрыты, прошло какое-то время, дни и недели, о которых я помню только то, что их пережила. Воспоминания теряют опору, туман клубится над пучиной усталости, и теперь тоже. Брахиозавр стал мне чужим. Он перешел на их сторону — Франца и его жены. Как цербер скалил он на меня зубы. Не было больше ничего заговорщицкого в его улыбке с высоты. Позже, когда Франц окончательно меня покинул, я с брахиозавром помирилась. Он опять принадлежал мне.

Итак, однажды утром все улицы, ведущие к музею, перекрыли. Выяснив, что обычный мой путь через Шоссештрассе на Инвалиденштрассе преодолеть невозможно, потому что всю улицу перерыли из-за каких-то телефонных кабелей, газовых или водопроводных труб, и я попробовала выехать на Гановерше-Штрассе, но и та у самой Фридрихштрассе оказалась загорожена шлагбаумом в красно — белую полосу. Третья попытка — через Отто-Гротеволь-Штрассе, раньше и теперь называвшуюся Луизенштрассе, но и тут я доехала только до Рейнхардтштрассе, где

пожарные шланги пытались победить загоревшийся кабель или что-то похожее.

Стала искать парковку, чтобы дальше пойти пешком. Но на всех прилегающих улицах машины стояли в два ряда, на мостовой и на тротуарах. Поехала на Ораниенбургер — угол Тухольскиштрассе, где могла развернуться или все-таки поискать стоянку, но так как развернуться мне не удалось, я взяла да и двинулась дальше, через Хакешер-Маркт прямо домой. Потеряв, как я думала, Франца, я стала такой безвольной, что всякий знак, случайно распознаваемый мной в будничной суете, с благодарностью считала принятым за меня решением. Перекрытые улицы возле музея не просто позволяли, они велели мне ехать домой. Надо заняться чем-то другим, а не механически отлаженной службой в музее. А поскольку до встречи с Францем было у меня одно заветное желание, я в то утро, когда подходы к музею перекрыли, решила отправиться, наконец, туда, где давно должна была оказаться — в Саут-Хадли, штат Массачусетс, в сад Плиния Моуди.

* * *

В Нью-Йорке я чуть не погибла. Впрочем, я подозреваю, что большинство людей, приехав в

Нью-Йорк на короткий срок, как я, утверждают, что едва там не погибли или, по крайней мере, были на волосок от смерти. Думаю, в Нью-Йорке каждый может пережить то, что он хочет пережить. Многие люди там чуть не погибли, но это говорит скорее не об опасностях Нью-Йорка, а о желании многих людей хотя бы однажды избежать смерти, чему предпосылкой непременно должна быть близость к таковой. Может быть, мы всерьез воспринимаем опасность, подстерегающую нас всегда и повсюду, только в таком городе, как Нью-Йорк, ведь там мы ее ждем, а вот дома какую-нибудь машину, от которой чудом удалось увернуться на дороге, мы считаем досадной помехой, но из-за самой ее обыденности не готовы признать присущих ей опасных качеств.

Я решила хотя бы два дня провести в Нью-Йорке, а затем автобусом отправиться в Саут-Хадли. Кто-то дал мне адрес родственника, тот куда-то сам уехал, и в его квартире я могла переночевать. Ключ у соседки.

Квартира недалеко от Хьюстон-стрит оказалась целым фабричным этажом на несколько сотен квадратных метров. С западной и с восточной сторон свет через высокие окна проникал в два громадных зала, связанных между собой стеклян-

ной дверью. Среди немногочисленной мебели высились какие-то растения в человеческий рост, а для их полива явно служил садовый шланг, змеившийся через всю квартиру от ванной.

Не предоставь мне случай этого прекраснейшего из всех мыслимых жилищ, я бы, наверное, все же отбыла в Саут-Хадли, штат Массачусетс, в сад Плиния Моуди. А так я сидела, измотанная многочасовым шатанием по Нью-Йорку, в квартире, показавшейся мне такой же родной — хотя я ничего подобного в жизни не видела, — как сам город. Несмотря на грандиозные размеры, она не казалась устрашающей. Позже я обнаружила, что там не было ни одного целого предмета мебели. Стулья держались на гвоздях, или у них не хватало перекладины в спинке, кресло скрепляла толстенная веревка, одну ножку кровати заменяли два кирпича, на стене между окнами висел метровый осколок зеркала. Легкость преходящего — и сотни разных шумов на улице, сливавшихся в единый монотонный шум и входивших в квартиры через открытые окна.

Чужая, укрытая огромной пустотой квартиры, окруженная следами бытия незнакомых мне людей, я предавалась героическому чувству собственного одиночества. Даже в мысли о Франце

не подмешивалось привычное отчаяние. Я ни разу не попробовала ему позвонить. В Нью-Йорке мне впервые пришла в голову мысль, что я, пожалуй, и без Франца могу быть счастлива с ним.

Посреди небоскребов, кондиционеров и вечных сирен «скорой помощи» я чувствовала себя по-звериному свободной, как никогда прежде на природе, — чем более дикой, неосвоенной, первозданной она была, тем более жестко доказывала мою от нее удаленность. А тут даже все словесные клише вдруг обнаружили смысл, столь же парадоксальный, сколь и справедливый: джунгли большого города, потоки людей, море домов, лес кранов — будто в хаосе большого города вновь зародилась соразмерная нам природа.

Отъезд в Саут-Хадли, штат Массачусетс, я откладывала и откладывала, и с каждым новым днем, проведенным мною в городе, мельчали ожидания, связанные со странными птичьими следами в саду Плиния Моуди. В Нью-Йорке меня во плоти встретил восставший из праха брахиозавр, символ безмерности.

К тому же целый ряд странных событий навел меня на мысль, что в этом городе я могу обнаружить нечто такое, что мне не известно, но могло бы, как я подозревала, избавить меня от смятения.

В детстве я читала одну сказку и запомнила такие слова: «Иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Нью-Йорк показался мне тем самым местом, где я открою для себя «не знаю что».

В воскресенье, на четвертый или пятый день моего пребывания там, я решила паромом прокатиться на Стейтен-Айленд. Утро было таким же жарким, как вечер накануне. Толстые стены домов вбирали в себя зной, так что за ночь город почти не охлаждался. Нью-Йоркское телевидение сообщило в то утро, если я их правильно поняла, что белые уже не составляют в городе большинства и что в Центральном парке крысы вышли из-под контроля. Стаи непуганых крыс среди ясного дня сновали в кустах и по траве. То одна, то другая между делом кидала свой бодрый крысиный взгляд в объектив камеры, так что мне стало страшно. Вид у них был такой, будто они точно знали, когда и как они возьмут в свои лапы нью-йоркское телевидение. И я решила на следующий день непременно сходить в Центральный парк.

Только я собралась наконец двинуться в сторону парома на Стейтен-Айленд, как обнаружила, что тяжелая железная дверь, открываясь наружу, уже через десять-пятнадцать сантиметров

наталкивается на какое-то препятствие. Щель слишком узка, так что невозможно было осмотреть площадку и понять, что же мешает двери открываться. Я собрала все силы, стала биться в эту дверь, но не сдвинула ее ни на сантиметр. Кто-то поставил перед ней железную тумбу или огромный ящик с песком, чтобы помешать мне выйти из квартиры. Я прислушалась к лестничной клетке, но различила только приглушенный уличный шум. Все жители дома в это воскресенье, похоже, выехали за город или на нью-йоркские пляжи. Осталась одна я. Заставляла себя дышать ровно, главное — выдыхать, а то я в минуту волнения про это часто забываю. Никто в Нью-Йорке меня не знал, следовательно, не имел желания убить. Но вот если кто-то закрыл меня в квартире, чтобы залезть туда по пожарной лестнице, — значит, он что-то от меня хочет. Ведь имея целью воровство или поиски ценных бумаг или завещания, он счел бы мое отсутствие для себя, да и для меня, более удобным. Но еще вероятнее, что этот некто искал подлинного хозяина квартиры, не подозревая о его отсутствии.

Я села в уголок комнаты, откуда могла наблюдать за дверью, маленьким ржавым балконом, идущей мимо него пожарной лестницей, и дыша-

ла коротко и равномерно до тех пор, пока руки не перестали трястись. Просидев так не менее получаса, я отважилась выйти на балкон, но не обнаружила ничего подозрительного. Потом еще раз попыталась толкнуть дверь. С разбегу бросилась на нее, собрав все силы, так что левое плечо болело у меня потом несколько дней. Несмотря на резкий удар, я на этот раз расслышала внятное позвякивание металла прямо над головой: накануне вечером я закрыла дверь на цепочку, сунув ее круглый кончик в задвижку, и она продолжала висеть — меня защищая — поперек двери. Из запасов хозяина я смешала джин с тоником или что-то похожее, расставшись с идеей водной прогулки на Стейтен-Айленд в это воскресенье. Теперь я знала, что не заперта в квартире, и могла успокоиться. Но паника, в которую я впала из-за плена по собственной вине, никак не проходила, как будто история с дверью стала для нее желанным предлогом снова меня обуять. Знакомое чувство: оно охватывало меня каждый раз в половине первого ночи, когда дверь моей берлинской квартиры закрывалась между Францем — он уходил и мной — я оставалась.

Ата дала мне два адреса, по которым, возможно, я найду ее друзей, в прошлом берлинцев:

это кларнетист, уже несколько десятилетий живет в Нью-Йорке и даже имеет тут успех, а еще бывшая актриса — в некое воскресенье она в Пергамон-музее прямо у Пергамского алтаря познакомилась с американским студентом и впоследствии вышла за него замуж — правда, прежде приняв иудейскую веру.

Начала я с актрисы. Автоответчик мужским голосом назвал номер телефона, но фамилию хозяина не сообщил. Та улица находилась в нескольких минутах ходьбы от моего дома, так что я после обеда отправилась по данному адресу, неподалеку от Вашингтон-сквер, чтобы посмотреть, живет ли еще там подруга Аты.

Привратник вел оживленный разговор с тремя рабочими, между делом отдал почту какому-то жильцу, и хотя и повернулся лицом ко мне, но разговора не прервал. Я громко выкрикнула фамилию подруги, но, видимо, с таким ужасным акцентом, что привратник ничего не разобрал, даже когда я повторила. Я протянула ему записочку Аты, он назвал мне этаж и номер квартиры, а поскольку рабочие продолжали спрашивать, или он просто поленился, — во всяком случае, он не сообщил о моем приходе по телефону. Села я в лифт, нажала цифру пять, но лифт не остановился

ни на пятом, ни на шестом этажах, а остановился на седьмом. Я сочла более разумным воспользоваться лестницей, чтобы не оказаться еще раз во власти лифта. Прошла сначала в дверь; над ней большими красными буквами было написано слово EXIT, а вела она в небольшое помещение, где слева находилась еще одна, меньшая по размерам, дверь. Та, над которой написано EXIT, захлопнулась у меня за спиной, пока я открывала другую, но за ней, против ожиданий, не было никакой лестницы, а лишь пустая крошечная каморка без окон. Не было лестницы, но что еще хуже, отсюда не было и пути назад. Выход не являлся входом. С той стороны, куда дверь меня заманила обещанием найти EXIT, она вообще не открывалась. Я заперла сама себя.

И в эту секунду вдруг вспомнила, что видела по ту сторону двери: пустые квартиры, а внутри малярные принадлежности. Была пятница, конец дня. Рабочие, видно, как раз прощались с привратником перед выходными, когда я садилась в лифт. Некоторое время мне удавалось сохранять спокойствие, а может, это я оцепенела от ужаса. Потом стала бросаться на дверь, разбила руки до синяков. «Help me, help me», — вопила я. И как в припадке буйного помешательства продолжала

колошматить в дверь. И вдруг она открылась. Темнокожий человек в белом рабочем халате стоял передо мной, качал головой и смеялся. Что сказал — не разобрала. На лифте поехала вниз. Актрису, подругу Аты, я так никогда и не увидела.

Кларнетист обрадовался привету от безумной — так он ее назвал — Беа из Восточного Берлина. Правда, он страшно занят, но обязательно хочет со мной встретиться, чтобы передать подарок Беа, но главное — узнать многое про Германию и все про Берлин. Вот уже целый год никак он не долетит дотуда, чтобы поплясать на развалинах проклятой стены. А не хочу ли я пойти завтра на концерт по случаю дня рождения одной дамы — меценатки, прямо у нее в квартире на Риверсайд-драйв. Потом можно выпить бокал вина где-нибудь в баре. Узнать его просто: человек с кларнетом.

Концерт начинался в восемь. Я пришла слишком рано. Поскольку я не знала никого из гостей, кроме кларнетиста, да и его-то не знала, поскольку моего английского не хватало даже для самой непритязательной беседы, я предпочла скоротать время на улице. Дом, где жила дама-меценатка, был предпоследним на одной из улиц, ведущих к Риверсайд-парку, отгороженному забором от

улицы, ему параллельной. Вечерняя тишина кругом. Улица почти пуста, только привратник в ливрее несет караул перед домом. И пожилой человек в шортах ведет терьера на прогулку. Я медленно перешла по мостовой к парку. Заходящее солнце там и сям прорывалось сквозь листву. Встав спиной к забору, я просто смотрела на улицу перед собой и размышляла о том, что мне все-таки удалось добраться до Нью-Йорка и Риверсайд-драйв, а ведь я считала это невозможным так долго, что мое присутствие здесь каждую секунду, как я об этом вспомню, глубоко меня удивляет. Отдавшись целиком победоносному чувству запоздалой свободы, я вдруг вспомнила глупую фразу, впрочем, не знаю, вспомнила я ее или услышала: «Тут плохо стоять». Не было никаких причин считать, что там, где я стояла, плохо. И все же я, не раздумывая, покинула солнечное место у забора и медленно, как и сюда, пошла на другую сторону улицы, где человек в шортах как раз собирал экскременты своего терьера в полиэтиленовый пакетик. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону дома, где жила дама-меценатка, как мимо промчался темный автомобиль, попытался свернуть на перекрестке направо, но вильнул и врезался в забор. Молодой

человек выскочил из машины, перепрыгнул забор и исчез в кустах, и тут полицейская машина, визжа тормозами, остановилась рядом с той, темной. С балкона на третьем этаже женщина кричала что-то полицейским, размахивала руками и указывала на парк. Тут и вторая полицейская машина с воем сирены вырвалась из-за поворота с соседней улицы. Я была в восторге от этой сцены, точной такой, как в американских детективах. Видимо, полицейские сочли бессмысленным преследовать человека в парке и спокойно переговаривались, а один звонил по телефону, и только тут до меня дошло, что автомобиль врезался в забор на том самом месте, где я стояла две минуты назад и услышала или вспомнила слова: «Тут плохо стоять». И я поняла, что избежала верной смерти. Раздавленную, в крови, я увидела себя между машиной и забором, на Риверсайд-драйв в Нью-Йорке, где нет даже человека, способного опознать мой труп. Голова закружилась, как у высотника, не вовремя взглянувшего вниз с высоты. Но еще глубже, чем возможность смерти, меня взволновало необъяснимое спасение.

Тогда, в тот апрельский день, когда кто-то на Фридрихштрассе на четверть часа вырубил свет у

меня в мозгу и напомнил о неизбежности смерти, я в попытке понять смысл происшедшего нашла такие слова: «В жизни можно пропустить все, кроме любви».

Тут же, наоборот, все началось со слов: тут плохо стоять. Я подумала о Франце, о смысле этих слов, о дверях, закрывшихся передо мной и за мной, — все это должно иметь значение. Какое отношение имела бы случайная смерть на Риверсайд-Драйв между забором и машиной преступника к моей любви и Францу? «Завоевать тебя иль умереть», но не так незаметно и случайно в уличной грязи Нью-Йорка, не так, чтобы Франц думал, будто я из-за него погибла, и оттого, что мелкому гангстеру, для своей профессии слишком плохому водителю, я встала поперек пути.

И с кларнетистом я не встретилась, и к крысам в Центральный парк не пошла. Я взяла билет на ближайший берлинский рейс. Мне хотелось к Францу.

* * *

Когда я вернулась, была осень. Мало времени у нас с Францем. Мы не можем часто встречаться. Этот период я вспоминаю редко. Вспоминаю

только ту осеннюю ночь, когда он ушел и не вернулся. Дождь прекратился. Сегодня надо все это восстановить в памяти, потому что больше я не буду ждать Франца. Надо сделать над собой усилие. Сделав над собой усилие, я, наверное, найду путеводную нить и пройду с ней сквозь Небытие до самой той ночи, когда тротуары были сухими. Может, хорошо, что я до смерти устала. Может, и хорошо, что я очень устала: труднее будет противостоять самым тяжелым воспоминаниям.

Многое не вызывает сомнений. Самолет приземлился в Тегеле. И не может быть такого, чтобы проходя с багажом через здание аэропорта к стоянке такси, я не вспомнила то субботнее утро, когда Франц на пути к Адрианову валу мимолетно и нежно улыбнулся своей жене, случайно задев ее локтем. Видимо, я утомлена поездкой. Дома я не стану ни есть, ни говорить по телефону, а сразу лягу среди хищных растений, где почую запах Франца. После обеда схожу за покупками, прочитаю письма. По-моему, дочь написала, что собирается меня навестить. По-моему, я обрадовалась. И еще пришло письмо от Франца — точно, открытка, вложенная в конверт. Открытка из киоска в нашем музее: фотография брахиозавра. Франц писал, чтобы я ему позвонила по приезде

в Берлин. Видно, я так и сделала, в тот же день или на следующий, но скорее всего — сразу.

Я точно помню, как Франц стоял за дверью, без цветов, прислонившись к косяку с таким видом, будто стоит там уже много часов или дней и готов ждать вечно.

Он остался до утра. Сейчас мне кажется, что мы в ту ночь не обменялись ни единым словом, ни словечка не сохранилось у меня в памяти, только шум и шелест, как в лесу, только грохот и гром из глубин, только наша слившаяся плоть и жадное дыхание. Утром гроза разразилась над городом и дождь стучал в окно за белыми шторами. Может, это было и в другое утро, а в то утро, пока Франц одевался и набивал трубку, чтобы табачным дымом истребить мой запах, я только мечтала, чтобы гроза разразилась над городом и дождь стучал в окно за белыми шторами. Может быть и такое.

Мне трудно разделить возможное и свершившееся. За долгие годы я перемешала и соединила все возможное со всем свершившимся, задуманное с высказанным, будущее с незабываемым, надежду со страхом — а история оставалась все такой же. Конец ее однозначен, он все и решает, поскольку не подлежит исправлению. Потому я

его и забыла.

Мое тело — сплошная мука. Щиплет меня и кусает, дергает и рвет, мои ноги умирают, и болит спина, будто кто-то по живому вытягивает нервы из позвоночника. Если мне удастся вспомнить все до конца, я лягу среди хищных растений и буду долго-долго спать. Осталось совсем немного до последней ночи, когда дождь прекратился, это я помню точно, потому что проводила Франца на улицу. Той ночью Франц поехал домой на автобусе, потому что жена взяла машину или машина сломалась. Короче, мы с Францем медленно шли по моей улице под деревьями, уже почти голыми, к автобусной остановке. Работа Франца в нашем музее завершена. Меня пересадили в архив. К брахиозавру я отныне не имею отношения. Это должно было меня расстроить, но, по-моему, вовсе и не задело. Утренние мои моления у его ног я все равно уже прекратила, как перестают ходить на мессу, если больше не получается верить. Стояла внизу, у ног, а представить его под утренним солнышком в Тендагуру, где он умер и где, вероятно, обитал, — не получалось, и нарастить на его костях мясо, и заставить биться его сердце — все это не получалось тоже. Как мне в Нью-Йорке странные птичьи следы в саду Плиния Моуди

уже не казались обетованием, так и брахиозавр превратился в то, чем он и был: скелетом, да еще у которого половина костей — подделка.

Франц, когда мы шли к автобусной остановке, был одет в белую рубашку. Ночь теплая, и пиджак он только накинул, так что белая рубашка светилась в темноте. Обнял меня за плечи, как в Эдинбурге обнимал свою жену. Почему я чувствовала себя такой счастливой, если Франц, почти как всегда, в половине первого уезжал домой? А я чувствовала себя счастливой, помню точно. Белая рубашка светится в темноте, и ночь теплая, и дождь прекратился, и я счастлива.

Когда Франц сказал эти слова: «Мой отец был прав»? Ни лица, ни света, только голос. Темно, я — ослепнув и оглохнув — лежу в объятьях Франца, и вот тут-то он скажет: «Мой отец был прав, человек принадлежит жизни, и если жизнью для него была Люсия, то он принадлежал ей».

Не шевельнулась, затаила дыхание, ведь еще одной фразы не хватало.

«Я всегда думал, что должен платить по счетам моего отца. Но если он счетов не оставил, если он прав, потому что его право — выбрать Люсию Винклер…»

И замолчал. Белая рубашка светилась на спин-

ке стула. Одной фразы так и не хватало.

«А что потом?» — спросила я так тихо, что Франц мог и не расслышать.

«Человечество стареет, — рассуждал Франц. — Что раньше считали концом, теперь середина жизни. На самом деле нам всего-то тридцать, ну, не больше тридцати пяти».

«Ты — моя поздняя первая любовь», — ответила я.

«Мужчина должен построить дом, зачать сына и написать книгу. Все это я уже сделал. — Франц сел спиной к стене и раскурил трубку. Подобно фавну, играющему на флейте, он сидел среди хищных растений. — Я могу зачать еще одного сына, построить еще один дом и писать все новые и новые книги о муравьях».

В темноте поблескивали маленькие серо-голубые глаза Франца, и в клубах дыма он вдруг показался призраком с живыми глазами. Я все еще ждала последней фразы: она должна последовать за словами о том, что не надо платить по счетам отца, ведь тот не оставил счетов. А одновременно спрашивала себя, зачем Францу произносить эту фразу, зачем ему это делать, зачем ему ко мне приходить, к рыдающей, ноющей, стареющей женщине, которая гналась за ним по

всем гостиничным кроватям вдоль Адрианова вала, выследила его жену и устроила ей бездарную сцену, все предала, что ей дорого было в жизни, — ребенка, мужа, брахиозавра. Зачем ему ради этой убогой душонки бросать свою мелкую жену-блондинку и квартиру у парка, где поют милые птички?

Потом мы освободили комнату. Франц спросил, где он поставит письменный стол. То ли он все-таки произнес ту самую фразу или похожую, то ли просто спросил, где поставить письменный стол. Помню, как среди ночи мы распределяли мебель из дальней комнаты по всей квартире, пили при этом пиво, а еще Франц, пока одевался и застегивал пуговицы белой рубашки, напевал песенку, она мне не знакома, но последние слова такие: «А жизнь, а жизнь, гляди, проходит мимо…».

«А жизнь, а жизнь, гляди, проходит мимо…» — пел Франц то с недоверием, то с негодованием, то смиренно. Перед тем, как мы вышли из квартиры, он поставил гитару в угол пустой комнаты. И все равно не вернулся.

Мы еще не дошли до конца улицы. Мы сделали всего несколько шагов под деревьями, уже почти голыми. Франц ищет по карманам мелочь на билет. До конца улицы, потом направо, метров

пятьдесят — и остановка. Возможно, я спросила по дороге у Франца, не поедет ли он все-таки со мной в Саут-Хадли, штат Массачусетс, в сад Плиния Моуди. Или он все еще напевал, мурлыкал песенку, или не напевал, не мурлыкал, а молчал, потому что думал о своей жене и не знал, как ей сказать, что из квартиры у парка он завтра переезжает ко мне. Не помню. Помню, как до утра сидела в пустой комнате рядом с гитарой и ждала Франца. Вот мы и дошли до конца улицы. Осталось пятьдесят метров до автобусной остановки. Две фары слева. «Автобус, еще далеко, — и хочет побежать, — приду завтра!» В свете фонаря на секунду вижу лицо Франца, в глазах уже никакого обещания, уже просит прощения улыбочкой. Он никогда не вернется. Я расставлю по местам мебель. Мои руки вокруг его шеи: «Не уходи!» Автобус уже близко, тащу за рукав: «Останься!» — а он хочет вывернуться. Обнимаю, сплетаю его и свои руки. «Приду завтра». Знаю, что ложь. «Ну иди же, иди!» Держу ли я его, толкаю ли, а он все равно вырывается. Никогда не слышанный мною звук: будто мокрой тряпкой хлопнули по железу. Рев такой, будто стая собак взвыла разом. Кто это так кричит? Под автобусом кто-то истекает кровью. В сточном желобе собирается кровавая

лужа. Раздробленная мужская рука под передним колесом.

* * *

Я убила Франца. Или не я? Толкнула? Или он сам упал, оступившись, потому что я его не пускала? Так или иначе, а Франца убила я. Может, я и ждала его столько лет, чтобы в это не верить. Все кончено. Ничто меня не держит. Я сумею преодолеть два шага до своего места среди хищных растений. Нездешний ветер гладит мое лицо, играет с листьями растений, между которыми светятся глаза, всюду глаза, и смотрят они на меня. Это глаза зверей. Звери сидят между хищных растений и следят, чтобы со мной ничего не случилось. Зверей все больше, крупных и мелких, они приходят и садятся тихонько рядом с остальными. А я — одна из них, я темная обезьяна с коротким носом, я длинными руками обнимаю свое тело. Я остаюсь лежать.